

Все не случайно

Автор:

Вера Алентова

Все не случайно

Вера Валентиновна Алентова

Автобиография-бестселлер

Вера Алентова, редкой красоты и элегантности женщина, рассказала о себе то, о чем большинство звезд обычно предпочитают не распространяться. Шокирует, что великая актриса вовсе не боится показаться нам смешной, ошибающейся, слабой, а подчас и отчаявшейся. Так иронизировать над собой могут лишь совершенные люди с необыкновенно светлой душой и любящим сердцем.

Прекрасная история прекрасной жизни захватывает с первой страницы. Сколько судеб пересеклись с судьбой Веры Валентиновны! И для каждого актера, режиссера, коллеги по работе и друга она находит добрые и очень точные слова. И, перевернув последнюю страницу, вдруг понимаешь: Вера Алентова в оscarоносном фильме «Москва слезам не верит» сыграла саму себя: простую девушку, которая прошла по жизни с любовью, достоинством и оптимизмом, всего добившись сама.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Вера Алентова

Все не случайно

© Алентова В.В., 2022

© Киноконцерн «Мосфильм», кадры из фильмов

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 202

* * *

5 июля 2021 года умер Володя, закатилось мое солнышко.

Книга написана за год до...

Пролог

Сейчас 2019 год, июнь, мне – семьдесят семь. В сорок пять я уже получала предложение написать книгу – была в те годы на пике популярности, «Москва слезам не верит» с триумфом прошла в кинотеатрах нашей огромной страны, картина уже получила множество наград, «Оскара» в том числе. Вышел на экраны и фильм «Время желаний» Юлия Райзмана, где я сыграла главную роль, – и снова награды и внимание публики... Но предложение написать книгу застало меня врасплох. Книга?.. О себе?..

Конечно, я видела в магазинах и киосках немалое количество актерских биографий, напечатанных в журнальном формате, мягкой обложке и часто на плохой бумаге. Но мне казалось, это какое-то странное поветрие, дань мимолетной моде. О времени и о себе пишут солидные люди или биографы – о тех, кто оставил яркий след в истории. А я?.. Что я? Я еще ничего особенного не сделала, я еще только озираюсь, осознаю, начинаю... Конечно, Пушкин в тридцать семь уже покинул этот мир, а роскошная Грета Гарбо в тридцать шесть перестала появляться на публике и больше никогда не снималась. Но я-то в свои тридцать семь только начала завоевывать киноэкраны!

Предложение написать книгу поступило, когда у меня уже был большой опыт работы на сцене, много сыгранных главных ролей. Я – актриса, и в первую

очередь актриса театральная. А писательство... Писательство казалось мне чем-то противоположным актерству, иным способом осмысления жизни.

Единственный мой тогдашний литературный опыт – многочисленные правки в интервью, которые присылались на утверждение. За годы шествия моих героинь по киноэкранам интерес к актрисе, их сыгравшей, не утихал, интервью брали часто, и я вносила правки, чтобы сохранялась моя интонация. Но интервью – это живой, сиюминутный разговор, книга же – нечто фундаментальное. Нет, я абсолютно не готова, решила я тогда. И понимаю теперь, решила правильно.

В 2019 году умер Сергей Юрский. Среди многих прекрасных слов о нем в прессе и соцсетях мне попалось его стихотворение, написанное в 1979-м. Боже мой! Как это похоже на меня! Юрскому было тогда сорок четыре года, и в его жизни уже случилось так много важнейших событий... Но он их не заметил! Или не придал им должного значения?

Стихотворение меня ошеломило, даже ранило.

Все начнется потом, когда кончится это

бесконечное, трудное, жаркое лето.

Мы надеемся, ждем, мы мечтаем о том,

чтоб скорее пришло то, что будет потом.

Нет, пока настоящее не начиналось.

Может, в детстве, ну в юности самую малость

Может, были минуты, ну, дни, ну, недели...

Настоящее будет потом, а на деле

На неделю, на месяц и на год вперед

столько необходимо-ненужных забот,

столько мелкой работы, которая тоже

никому не нужна, нам она не дороже,

чем сиденье за скучным и чуждым столом,

чем мельканье чужих городов под крылом.

Не по мерке пространство и время края,
самолет нас уносит в чужие края.

А когда мы вернемся домой, неужели
не заметим, что близкие все почужели?

Я и сам почужел.

Мне ведь даже неважно,
что шагаю в костюме неважно отглаженном,
что ботинки не чищены, смято лицо,
Что на встречах, на женщин, гляжу с холодцом!

Это не земляки, а прохожие люди,
это все к настоящему только прелюдия.
Настоящее будет потом. Вот пройдет
этот суетный, мелочный, маятный год,
и мы выйдем на волю из мучавшей клетки.
Вот окончится только тысячелетье...

Ну, потерпим, потрудимся, близко уже
В нашей несуществующей сонной душе
все уснувшее всхлипнет и с криком проснется!!
...Вот окончится жизнь – и тогда уж начнется...

Как похоже на мое ожидание главного в жизни и совершеннейшее небрежение к происходящему в сию минуту! Небрежение к событиям важным! Неповторимым! Значительным, изменившим жизнь! Конечно, в каждом случае найдется масса объективных причин этого небрежения, но главным образом так происходило

именно потому, что казалось, все начнется потом!

Что же теперь, мое «потом» наступило?

Когда пару лет назад снова последовало предложение написать книгу, я вяло подумала, что, пожалуй, стоит. Возник вариант работы с соавтором (не секрет, что многие мемуары людей известных – надиктованный рассказ, который обработал редактор). Но я понимала, что работать с соавтором не решусь – чужая интонация не всегда точна. Да и диктовать свой текст тоже казалось идеей странной. Словом, размышляла я еще пару лет.

Но когда прочла стихотворение Юрского, я то и дело стала к нему мысленно возвращаться и однажды поняла окончательно – время пришло. Я готова вспомнить прошедшее и, главное, осмыслить и оценить его по достоинству.

Решила писать сама. Допускаю, что с запозданием. Скажем, в пятьдесят лет и память еще не играет с нами в прятки, и воспоминания, наверное, ярче, и мысль легкокрыла. А с другой стороны, когда 80-летнего Сомерсета Моэма спросили, совершал ли он серьезные ошибки в жизни, последовал ответ: да, одну, когда в шестьдесят написал книгу «Подводя итоги». И хотя он – великий писатель, а я – актриса, пытающаяся преуспеть на чужом поприще, слова этого мощного, остроумного старика рассмешили и придали сил.

С того времени, когда мне впервые предложили написать воспоминания, утекло много воды. Стала другой страна, издается много разных книг, но главное, теперь любой может напечатать свою и, что удивительно, находятся читатели даже для совершенной чепухи! И это тоже вдохновляет, снимает ответственность, развязывает руки.

Еще одно важное открытие убедило сесть за книгу: оказалось, что выражение «врет, как очевидец» на сто процентов верно!

Однажды мы с мужем вспоминали какое-то событие нашей жизни и выяснилось, что мы его помним до такой степени по-разному, что второму участнику и узнать-то его практически невозможно. Более того: когда к нам присоединилось молодое поколение в лице нашей дочери и мы стали вспоминать события, участниками которых были все трое, дело дошло до шумных споров. В наших воспоминаниях не обнаружилось практически ничего общего.

Да как же так? Почему?

Я это поняла, но не сразу, позже.

Проблема вовсе не в том, что каждый приукрашивал факты в свою пользу или преувеличивал собственную роль в этих историях: проблема – в личностном восприятии. А личности мы настолько разные, что оказалось, и вспоминаем, и оцениваем факты по-разному. Я вдруг поняла, что «очевидец» не врет, что голых фактов в воспоминаниях не бывает, – они наполнены воздухом времени, окрашены возрастом, настроением, сиюминутным течением мысли и даже запахом. Так что, смирившись с многолетним заблуждением, что семья – это нечто единое в воспоминаниях, и заранее согласившись, что и сама могу быть неточной, легко берусь за эти записки о времени, в котором родилась, жила и пока еще живу.

Детство

Мой Север

Я родилась на Русском Севере и прожила там пять с небольшим лет. Потом еще четырнадцать вместе с мамой колесила по стране, жила в разных городах нашего огромного Советского Союза: на Украине, в Узбекистане, в средней полосе России. Наконец, я остановилась в столице и задержалась в ней надолго. В Москве прошла вся моя сознательная жизнь, появились на свет моя дочь и внуки, но Север никогда не покидал меня: он притаился и неизменно присутствовал в моей жизни, пусть и странным образом. Он отзывался в сердце, когда приходилось слышать: «Архангельск», «Вычегода», «Котлас», «Северная Двина», «Вологда», «Великий Устюг», «Сухона», «Печора»... Или, например, «шанежки», «вологодское масло»...

В памяти не возникали образы, эти названия обозначающие, – это просто были знакомые слова, от которых на душе становилось тепло. Их я слышала от мамы, когда была совсем маленькой, а потом, пусть и нечасто, они могли прозвучать с

телеэкрана, попадались в книгах – и всегда были родными. А если их произносил случайный человек, то и он сразу становился ближе, хотелось узнать о нем больше – я даже могла поделиться с таким человеком сокровенным переживанием.

Северная Русь жила во мне всегда, я считала ее своей малой Родиной. Не раз мне выпадала возможность почувствовать гордость за свои корни, так случилось однажды в Бельгии.

В 1981 году на международном кинофестивале в Брюсселе мне присудили приз «Лучшая женская роль» за «Москва слезам не верит», но побывать там я не смогла – была на гастролях. Однако устроители фестиваля настояли, чтобы я все-таки приехала в Брюссель позже и получила награду. И это неудивительно, европейцы в те годы относились к Советскому Союзу и нашему искусству с любопытством.

По случаю моего приезда даже открыли ратушу, куда в обычные дни посетителей не пускали, и мэр города в торжественной обстановке лично вручил изящный приз «Сан-Мишель». Публика разглядывала меня изумленно, едва ли не разинув рты. Я понимала, конечно, что о жизни в СССР бельгийцы знают мало, но все-таки удивилась такому пристальному вниманию.

Это была одна из первых моих поездок за рубеж, но со временем я привыкла к дремучести дальнего зарубежья. Особенно после того, как в Канаде милая дама, осмелев от выпитого бокала вина, призналась, что очень удивилась, когда увидела в фильме наши дома, улицы и, собственно, меня. На мой вопросительный взгляд дама доверительно ответила: «Мы были уверены, что в России все засыпано снегом, очень холодно, медведи ходят по улицам, а люди одеваются в шкуры». Я вначале подумала, что дама неудачно шутит, но она целый вечер восторгалась, что одета я по-европейски и у нас есть многоэтажные дома.

В Брюссель я прилетела одна, без какого-либо сопровождения, и не была узнана человеком, встречавшим меня в аэропорту. Дело в том, что к тому времени мои волосы из темно-русых, как в «Москве...», превратились в светлый блонд – съемки в новом проекте требовали сменить цвет.

Получив багаж, я стояла, неуверенно озираясь по сторонам, и только тогда встречающий обратил на меня внимание. Он подскочил и спросил по-французски, я ли это. Убедившись, что я – это я, он долго извинялся, что не узнал, удивлялся, что у меня светлые волосы, а после поинтересовался, где же люди из КГБ. Французский мой был весьма слаб, но восторг бельгийца, нашедшего наконец гостью из Москвы, оказался так велик, что я почти все поняла.

Визиту советской актрисы было уделено много внимания в прессе. Возможно, еще и потому, что на фестивале случилось происшествие: кто-то сорвал флаг СССР у кинозала, украшенного знаменами стран-участниц. Писали много и о моем «элегантном образе», и об отсутствии сопровождающих из КГБ.

Свой первый международный приз мне захотелось отметить – сделать себе брюссельский подарок. И вот, увидев в витрине небольшого магазинчика очаровательное платье, я решила его купить, если, конечно, вещь окажется впору и денег хватит – валюты у меня было совсем немного, а приз денежной составляющей не предполагал.

Примерив платье, я показала переводчице, мол, как оно смотрится? Незнакомую речь слышали продавщицы, заинтересовались покупательницей, а узнав, что я русская, удивленно зашебетали, сбегали в соседний отдел, привели с собой еще коллег и все вместе уставились на меня. Я им явно понравилась, платье сидело хорошо, и восторженные взгляды продавщиц окончательно разрешили мои сомнения по поводу покупки.

Когда я уже собиралась уходить из магазина с платьем под мышкой, меня спросили через переводчицу: «Признайтесь, вы ведь не русская? Все русские черноволосые, низкорослые, широкоплечие, а вы – высокая, тоненькая и беленькая». Мне было обидно слышать такое мнение о наших женщинах, и я с гордостью расхвасталась, что совершенно точно отношусь к «русской популяции», потому что в северные края, откуда я родом, и татаро-монголы не дошли за 300 лет ига, и немцы за пять лет войны. Так что я – коренная, исконно русская. И не верьте никому, сказала я, совсем не смущаясь, русские – очень красивая нация.

Почти через полвека после того, как я покинула Север, мне удалось показать мужу свою малую Родину. Это путешествие отозвалось в сердце знакомым говором, как у моей мамы, и встречей со сказочной природой. Мы приехали зимой, город моего деда был сверкающим и бело-голубым от мягкого снега и ледяных веток замерзших деревьев. Он казался бескрайним. В необъятном снежном пространстве едва угадывалась вставшая река Сухона, ледяная и строгая. А еще из-за множества храмов, таких же белых, как снег, город предстал перед нами величественным и гордым. При встрече с людьми неспешными, теплыми и радушными, так непохожими на вечно спешащих москвичей, вспомнилось мамино: «У нас двери ни у кого не запирались, наоборот, если из дома уходили, то ставили метелочку у порога: мол, нет никого дома, заходите в другой раз!» Простодушие, доверчивость и строгость – это, мне кажется, отличительные черты северян. Они были свойственны моей маме и в какой-то степени передались мне.

Что осталось в памяти

Ученые мужи пишут, что ребенок запоминает события только после трех лет, а более ранние воспоминания основаны на пересказах взрослых. Но мои самые первые воспоминания относятся к совсем раннему периоду моей жизни и пересказать мне их было некому...

Я родилась в 1942 году в городе Котласе, где работали актерами мои мама и папа. Шла война. Самое первое воспоминание – это скорее ощущение добра, заполнившего пространство вокруг. Оно ко мне ласково, мне в нем хорошо, тепло и спокойно, хотя сейчас меня куда-то несут в пеленках. Мне не страшно, ну, несут и несут. Оказалось, принесли показать раненому соседу, почти мальчику. Несла меня его мама, я помню расположение комнат, помню часть обстановки у нас и соседей, где на кровати лежит этот раненый мальчик, а его мама сажает меня ему на грудь, покрытую белой простыней, и щебечет, щебечет, как птичка, стараясь порадовать сына. Я мала настолько, что еще не умею стоять, да и сидеть еще не очень могу – меня поддерживают под спинку. Но, что удивительно, я все понимаю. Я в светлых пеленках – тоже, видимо, из старых простыней, – и просидела я так совсем чуть-чуть, потому что щебечущая мама, смеясь, вдруг меня подхватила и с возгласами «ай-ай-ай!» быстро понесла обратно к нам в комнату. Вокруг – несколько чужих людей (моей мамы не было), и все смеялись, и раненый мальчик тоже...

Следующее воспоминание: я уже хожу, еще плохо, но хожу – на общей кухне, вокруг старого обшарпанного табурета. Фанерное сиденье его от времени и влаги стало серо-белым, а углы расслоились. Стоит табурет посреди кухни и служит, как я теперь понимаю, подставкой для таза, когда надо постирать. Одной рукой я держусь за табурет, другой пытаюсь достать маленький, тоненький леденец голубого цвета на противоположном от меня краешке табурета. Не без труда мне это удастся, и леденец быстро отправляется в рот – но... увы, леденцом оказывается простой обмылок. Отвратительный вкус его я помню до сих пор... Хотя я совсем мала, рядом никого нет, пожаловаться некому. И я справляюсь с разочарованием сама, выплюнув обмылок и вытерев язык рукавом.

...Я уже чуть постарше, но снова одна, а на столе – каша. Мама оставила и очень просила перед уходом, чтобы я обязательно позавтракала. Почему-то я заперта на ключ: наверное, меня оставили одну ненадолго. И я бы рада позавтракать, но из-за угла печки выглядывает мышь и сверлит меня глазками-бусинками. Я ее боюсь. Живем мы в бревенчатом доме, почерневшем от старости: родители снимают здесь комнату, это тот же дом, где был раненый мальчик. Я плачу у запертой двери, кто-то из соседей успокаивает меня советом: топни ножкой, и мышка убежит. И я топаю, а она не только не убегает, а, поняв, с кем имеет дело, быстро движется к столу, вскарабкивается на столешницу, забирается на граненый стакан, на дне которого осталась капля молока, и, как заправская гимнастка, упираясь изнутри в стенки стакана всеми четырьмя лапками, выпивает эту каплю. А я, оцепеневшая от страха, вижу сначала ее распростертый живот во всей красе, потом мгновенное возвращение из стакана на стол, потом краткое раздумье, со взглядом сначала на кашу, потом на меня, и, наконец, решительное возвращение тем же путем в родные пенаты – за печь!

Неожиданно приходит бабушка – папина мама, вот почему я одна и заперта: бабушка запоздала. Я ее очень люблю, и сразу все становится на свои места, а главное, понятно, что мышь даже кончика своего ужасного голого хвоста не высунет из-под печки, потому что, если бабушка топнет ножкой, от мыши мокрого места не останется. И мышь это наверняка знает. Бабушка предлагает мне съесть кашу, но, получив решительный отказ приближаться к месту, где наслаждался остатками молока мой страшный враг, сама с удовольствием ест кашу под мой трагический рассказ о непозволительном поведении мыши. А дальше помню, только уже вечером, мамин вопрос, ела ли я кашу, мой рассказ о благородном отказе и мамин тяжелый вздох.

Я никогда не голодала в детстве: но, уже будучи взрослой, по некоторым сдержанным маминым рассказам поняла, что жизнь наша была в те времена нелегкой. Съеденная бабушкой детская каша и досталась маме непросто, и не улучшила ее отношения к бабушке.

...Еще в этом доме помню свою няню, немолодую худенькую женщину, и ее ухажера, который курил вонючую махорку. Однажды на мою просьбу тоже попробовать покурить он ответил согласием и очень долго смеялся надо мной, надрывно кашляющей, и усы его, рыжие от табака, смеялись вместе с ним. Помнится даже, что внутри меня звучал невысказанный вопрос: как такое могло произойти? Ведь я ребенок – взрослый не должен был так поступать с ребенком!.. Помню, как мы с няней расставались, и на прощанье она подарила мне жестяной сундучок. Он еще очень долго присутствовал в нашей жизни: мама держала в этом сундучке нитки мулине.

Про папу помню только очень короткий эпизод, как он держал меня за руку и мы с ним гордо шли вдвоем в ларек пить пиво. Он дал мне глотнуть из кружки, и пиво мне очень понравилось. Помню, что было лето, стояла теплая погода и мужчин было довольно много, но почему-то, к моему удивлению, все без детей...

Помню тетю Клашу и дядю Мишу, очень близких мне людей, они тоже жили в Котласе. Их я помню хорошо еще и потому, что часто бывала у них в гостях ребенком, а последний раз была уже достаточно взрослой, в 14 лет. Тогда я узнала, что тетя Клаша – родная сестра моего деда по маминой линии, а значит, она мне бабушка. Но сама тетя Клаша с этим категорически не соглашалась, уверяя, что по каким-то там правилам, неясно каким, она мне именно тетя: и правила эти действуют до седьмого колена. Думаю, все дело было в том, что ее муж был моложе тети Клаши на 13 лет.

История их любви непростая. Когда-то тетя Клаша работала учительницей, и была она старой девой тридцати семи лет. И вдруг в их женский школьный коллектив затесался, бог знает каким образом, дядя Миша. Было ему в ту пору двадцать четыре года и, хотя в коллективе имелись особы помоложе, влюбился дядя Миша смертельно именно в Клавдию и сразу замуж позвал. Клавдия долго стеснялась и сопротивлялась, но, наконец сдавшись, стала просить благословения на брак у старшего брата – моего деда. Дед разрешения не дал и, казалось, закрыл тему словами: «Когда ни зуба во рту, ни волоса во лбу, дурить нечего». Но благородный молодой влюбленный не отступился и все-таки Клашу уговорил, и повел в загс, и прожили они вместе долго и счастливо.

Та последняя встреча с тетей Клашей и дядей Мишей оказалась теплой и познавательной. В Котласе я не была с тех пор, как мы с мамой его покинули – то есть примерно десять лет. И деревянные мосточки, которые служили тротуарами, отозвались давним, родным ощущением ходьбы по ним моими маленькими ножками.

Из маминых рассказов я знала, что Клаша очень боится грозы и пребывает в уверенности, что грозы боятся и ее поросята: их она держала в погребе и относилась к ним как к детям. Поросята были худенькие, на высоких ножках, и Клаша носила их на руках, когда они болели. Куда девались поросята, вырастая, непонятно: ведь о том, чтобы зарезать и съесть поросят, не могло быть и речи!

Как-то при мне загремел гром, и тетя Клаша побледнела, быстро накинула платок на плечи, сунула ноги в галоши и выбежала на улицу. Она спустилась в погреб к своим любимым поросяткам, чтобы они не испугались, да и самой не грех успокоиться и пересидеть грозу в безопасном месте. Молчун дядя Миша по доброму посмеивался над женой, но Клашу это не смущало. Детей у них не было и, может быть, таким странным образом Клаша удовлетворяла потребность в материнстве, кто знает...

Издали мне показали сгорбленную старуху, идущую с палкой в руке и рюкзаком-мешком за спиной. Мне сказали, что именно она заговорила мою младенческую грыжу – пошептала что-то над детским тельцем, и я наконец спокойно заснула. Эта история мне уже была известна от мамы. Когда я родилась, то много плакала, и молодые родители решили свозить меня в Великий Устюг к мамину папе – Николаю Александровичу Алентову. Он служил врачом, поначалу земским, а потом по специальности – невропатологом. Мама меня привезла, дед посмотрел, послушал жалобный плач и вынес вердикт: это пупочная грыжа, официальная медицина ее не лечит, неси к бабке – может, заговорит! Кинули клич, бабку нашли в родном Котласе, она пошептала, и мой бесконечный плач прекратился. Зная эту историю и увидев ту самую старуху с палкой, мне захотелось подойти к ней, поблагодарить и напомнить о себе... Но Клаша сказала, что делать этого не стоит: старуха давно «не в себе», да и меня не вспомнит – не потому, что я выросла, а потому, что многим младенцам что-нибудь заговаривала, всех не упомнишь. Я с жалостью смотрела на удаляющуюся сгорбленную спину старухи и мысленно посылала слова благодарности ей вслед.

Дядя Миша был полной противоположностью тети Клаши. Та болтала без умолку, попутно стряпая, штопая и глядя постельное белье на узкой ребристой доске-рубеле: такую теперь можно увидеть разве что в музее народного быта. Клаша любила гладить именно так, скалкой на ребристой доске, хотя у нее было два утюга: один на углях, другой тяжелый, чугунный. Клаша то и дело бегала к пороссятам, выпрашивала меня про нашу жизнь в большом городе и по чуть-чуть рассказывала про свою, показывая старые фотографии на плотной картонной основе. Внизу, под фото в золотых вензелях можно было прочесть адрес фотоателье и фамилию его владельца...

На одной из фотографий я увидела совсем молоденькую Клашу с длинной косой, в форменном гимназическом платье и высоких шнурованных ботиночках. Окружали ее три импозантных молодых человека. Я стала расспрашивать, и тетя объяснила, что на фото она с братьями: это Николай – твой дед, самый старший, это Палладий и Виталий. О существовании Палладия и Виталия я не знала ничего, очень удивилась и попросила рассказать о них подробнее, но Клаша как-то вдруг засуетилась, сказала: потом, потом... И я поняла, что по какой-то причине ей не хочется говорить на эту тему, и больше ее не расспрашивала.

Дядя Миша был чуть ли не в два раза выше Клаши, неторопливый, молчаливый, доброжелательный розовощекий мужчина. На работу он уходил, когда я еще спала, а вернувшись, садился обедать под щебет Клаши. Она ему подавала и рассказывала про свой день – сама уже давно не работала, но рассказать ей всегда было что. Дядя Миша ел и кивал, после трапезы доставал газеты и неторопливо, внимательно читал, по-прежнему не произнося ни слова. Понаблюдав за этим несколько дней, я решилась попросить: дядя Миша, скажите что-нибудь! Ответ меня изумил: а о чем, Верочка, говорить? Задан вопрос был серьезно, и дядя Миша, глядя мне в глаза, спокойно и внимательно ждал предложения темы. Я растерялась, но как-то сразу поняла, что Клашин щебет он за разговор не считает и руководствуется принципом: уж если говорить, то о чем-то стоящем.

Первая обида

Малышкой я любила бывать у них в гостях, где могла поделиться своими детскими новостями. Помню, как дядя Миша везет меня на санках по скрипучему

снегу, на улице уже темно, и снег искрится под зажженными фонарями. Мы подъезжаем к дому, и я, хитрюга, делаю вид, что заснула. Меня достают из санок, вносят на руках в дом, раздевают и укладывают спать в теплую постель. Меня здесь любят! Мне у них всегда хорошо. Но однажды...

Однажды я гуляла во дворе и, с большим трудом взобравшись на горку, оторвала от общей наледи на крыше сарайчика понравившуюся мне большую сосульку. Принесла сосульку в дом: чтобы не на улице, а в комфортных условиях с хрустом ее съесть. Но наступило время дневного сна, и тетя Клаша предложила съесть сосульку, когда я проснусь, а пока положить ее на блюдечко и поставить погреться в русскую печь. (У Клаши была русская печь, и она умело орудовала ухватами разной величины.) Предложение Клаши подогреть сосульку мне показалось разумным, и, будучи человеком покладистым, я согласилась. Мы вместе нашли большое блюдце, вместе положили на него сосульку и засунули поглубже в остывающую печь. Я со спокойной душой пошла спать, а проснувшись, сразу вспомнила, какое лакомство меня ждет. Подпрыгивая от нетерпения, я подбежала к печке, Клаша открыла полукруглую дверцу и достала блюдце... с водой!

Я долго-долго выясняла, где же моя сосулька? Не веря в непоправимое, я пыталась сосульку отыскать в печке, и в моей детской голове никак не укладывались слова: она растаяла!

Родные добродушно посмеивались над моими поисками и в который раз с улыбкой говорили, что это она и есть, моя сосулька: она от тепла превратилась в водичку! И я вдруг поняла: взрослые знали, что так будет, знали уже тогда, когда мы вместе ставили блюдце в печь. Они меня обманули. И этот их добродушный смех – абсолютное тому подтверждение! Я горько зарыдала. Меня пытались утешить сказкой, что сосулька сама так решила и растаяла, потому что она холодная, а детям холодное нельзя – будут болеть горлышко и ушки. Утешения не подействовали – я продолжала рыдать. Я не была капризным ребенком и плакала редко. Дети войны – особые дети, они рано взрослеют и все понимают с первого раза. И потому мое поведение сначала удивило, а потом напугало моих родных. Рыдать я не прекращала и рыдала так долго, что дядя Миша собрался на улицу принести мне другую сосульку. Я предложение отвергла и продолжала горько плакать. Они так и не поняли, что рыдала я не о сосулке! В памяти не осталось, как закончилась для меня эта горестная история, но ощущение глубокой обиды и обманутой доверчивости помню до сих пор.

Другой дом

Следующее мое котласское воспоминание относится уже к другому дому, тоже одноэтажному, но не бревенчатому, а из серого кирпича. Мы с мамой там живем почему-то только вдвоем: ни папы, ни няни нет – есть соседи, и в их половину дома отдельный вход, но из нашей комнаты к ним имеется дверь, напоминающая, что когда-то наша и соседская половины были общими. Теперь дверь всегда заперта. Зато под дверью есть узкая щель, в нее соседские дети просовывали мне игрушечную посуду: алюминиевые тарелочки и сковородки. Кастрюлька, увы, не пролезала. Так мы подолгу играли и переговаривались, прижимаясь щекой к полу, чтобы увидеть друг друга.

Дом – новый, светлый. У нас с мамой большая чистая комната и даже в небольшом коридоре – кухня со шкафчиками. Не ободранными, как тот табурет и вся остальная мебель в старом доме. Теперь у нас все новое и только наше с мамой. Соседей в этом пространстве не было, и мышей тоже...

Но!!!! Там бывал ВОЛК!

Думаю, было мне тогда года четыре, и я оставалась одна, когда мама уходила на работу. И в этот момент как раз и появлялся ОН! Ну, как появлялся: я его лично не видела, но присутствие его чувствовала и маму в свои переживания посвятила. Поэтому всякий раз перед уходом на работу она брала меня на руки и мы с ней открывали все ящики в коридоре-кухне. Мама спрашивала: «Вот видишь? И здесь волка нет», – а каждый из ящиков был и в самом деле совершенно пуст. Я не могла этого не признать, так что отвечала: «Вижу!» Мама со спокойной душой уходила на репетицию... и тут случалось нечто непостижимое. Волк все-таки оказывался в кухне в одном из ящиков! Нет, я его по-прежнему не видела, но точно знала, что он там как-то оказался и что-то замышляет...

Во дворе нового дома папа соседских детей построил чудесную снежную горку, высокую и длинную. На санках или с картонкой под попой можно было кататься до тех пор, пока вдруг не увидишь, что санки почему-то валяются перевернутыми у входной двери, картонка давно куда-то делась, спина зимнего пальто на вате превратилась в толстую ледяную корку, варежки на резинке –

тоже, а попе так холодно, что, пожалуй, будет нагоняй от взрослых! Жаль расставаться с горкой – ослепительно-белой, искрящейся на зимнем солнце, посередине которой голубая, тщательно раскатанная нами дорожка. Но мы, раскрасневшиеся, мокрые и счастливые, все-таки вынуждены были прощаться: возможно, до завтра, а возможно, до тех пор, пока просохнет пальто на вате.

Помню, что иногда к нам приходили нищие: на фоне деревянных развалюх наш дом выглядел состоятельным и гордым. Однажды, в очень холодный и ветреный день, в нашу дверь постучали. Мама открыла, и я увидела высокую красивую женщину с непокрытой головой, в старом длинном пальто. Она просила дать ей хоть что-нибудь, но у нас самих ничего не было; тогда она распахнула пальто – а под ним... она была совершенно голая. Я испугалась – на улице так холодно, мама ахнула и начала ей что-то из своего все-таки отдавать. Очень бедно люди жили: война вымела из домов все.

Печали

Как ни странно, заболела я на Севере южной болезнью – малярией. Сильно заболела, и время от времени малярия ко мне возвращалась, последний раз – лет в 12, когда мы уже жили на Украине. Там я попробовала в первый раз дыню, и почему-то именно она вызвала новый приступ болезни. А тогда, в Котласе, мне нужно было принимать очень горькие таблетки, назывались они «акрихин», но я, малышка, пила их безропотно. Достаточно было маме сказать: чтобы выздороветь, нужно принимать лекарство, хотя она и понимает, таблетки горькие, и очень мне сочувствует...

Любое слово мамы для меня было законом: и потому, что я любила маму какой-то боготворящей любовью, и потому, что дети военных лет будто и не дети вовсе. Все понимали с первого раза. Удивительно: на Севере военные действия не велись, но дети, даже совсем маленькие, будто чувствовали, что какая-то большая беда витает в воздухе. Никаких капризов, непослушаний, уговоров купить игрушку или сладости: это были почти взрослые люди, только маленького роста. У меня сохранилась фотография группы детского сада тех лет: я с бантом на голове. Бант завязать было невозможно – волосы очень коротко стрижены, а без банта тоже никак нельзя – подумают, что я мальчик. Поэтому воспитатели бант завязали отдельно, положили мне его на голову и

велели не шевелиться. Я очень хорошо помню, что ситуацию понимала и довольно долго стояла, как солдат на посту, не шелохнувшись.

Горькое лекарство следовало принимать по часам. В часах я еще не разбиралась, и мама, уходя на работу, показывала на будильнике, где должна быть большая стрелка, а где маленькая. Будильник и лекарство стояли на стуле возле кровати, и я все время тревожно посматривала на циферблат, боясь пропустить момент, когда будет пора...

Детский сад запомнился добрыми и внимательными воспитательницами, в основном ленинградками. В Котласе вообще оказалось много эвакуированных из Ленинграда, и далеко не все спешили после войны вернуться в свой оголодавший город. Когда нам с мамой пришлось покидать Котлас, одна особенно нежная и милая воспитательница подписала мне фотографию, на которой она запечатлена в окружении нас, детсадовцев. Текст такой: «Помни, Верочка, детский сад и Марию Семеновну». И я ее помнила, помнила долго: она была молода, хороша собой и очень добра. После Котласа я оказалась в детском саду Кривого Рога, города, который два с половиной года находился под немецкой оккупацией. Там воспитатели были нервные, на детей покрикивали и особой заботой не окружали. Нас даже отпускали гулять без присмотра, «чтобы только недалеко от садика». А гулять мы предпочитали на развалинах взорванного дома, о чем воспитатели даже не догадывались. Взрослые были суровы, а мы – беспечны. Там, на развалинах, мы пели, кто в лес, кто по дрова: «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая...» Военная тема в те годы была главной, в Котласе, например, мы пели в детском саду про героя Щорса: «Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка! Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве...» В детсаду пели хором, а дома, стоя не табурете, я демонстрировала взрослым свое умение солировать. Меня с удовольствием слушали и хвалили.

Печального в нашей жизни было немало. Помню, как сильно заболела мама: соседи вызвали «Скорую помощь», и маму забрали в больницу. Я стою на стуле, смотрю в окно, вижу, как носилки с мамой заносят в машину «Скорой». По радио поют песню: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги...». Я совершенно одна. Потом пришла, как мне показалось, тетя Клаша, и я со своего стула на всякий случай спросила: «Вы тетя Клаша?» У пришедшей была большая выпуклая родинка на щеке, как у моей тети. Но женщина ответила: «Нет!» Продолжение этой горькой истории я не помню совсем – оно на этом месте резко обрывается,

но переживание оказалось настолько сильным, что песню «Эх, дороги...» я не могла слышать лет до тридцати.

Из Котласа выбирались на пароходах – город расположен на слиянии рек Вычегда и Северная Двина. В детстве я пароходов побаивалась, потому что они трубили очень громко и неожиданно. Но одна из поездок обещала быть замечательной – плыли мы с мамой на гастроли, и мама тому очень радовалась, а мне передалось ее чудесное настроение. Запомнилось теплое лето, на палубе многолюдно, но весело. Трубы по-прежнему пугали меня то низкими и протяжными, то высокими и верещащими гудками. Но настроение было прекрасным! Увы, ненадолго.

Я заболела скарлатиной, и, значит, меня нужно снимать с парохода в первом же городе, куда мы причалим, и класть в больницу. А мама должна плыть дальше: гастроли отменить невозможно, она ведущая актриса театра, играет все главные роли. Город, куда причалил пароход, – чужой, в нем нет даже знакомых... Помню, как волновалась мама и как сказала мне, что, по счастью, здесь в командировке еще 3–4 дня будет ее подруга тетя Тоня, она меня обязательно навестит, а потом мне придется довольно долго побыть одной, пока мама не заберет меня после гастролей. Я все понимала и кивала. И вот меня сняли с парохода, а мама поплыла дальше, и действительно пришла тетя Тоня, только ее ко мне не пустили – в больнице был карантин, – отдали от нее передачу и велели подойти к окну... Я подошла и увидела из окна, как она стоит на пустыре и машет мне рукой. Но мне было все равно: я ее мало знала и к тому же болела тяжело.

Жизнь в больнице оказалась насыщенной и непростой: в палатах лежали дети разных возрастов, и это приводило к конфликтам. Старшие обижали младших, я по возрасту относилась к последним, младших то и дело переводили в другие палаты, но нигде нам не удавалось прижиться.

Я очень долго ждала маму, а потом перестала ее ждать. У меня болели уши – осложнение после скарлатины, и как-то раз в коридоре, переселяясь в очередную палату с моим нехитрым скарбом, я увидела женщину в мамином пальто. Потом оказалось, что это и была моя мама, но я даже не обрадовалась. Мне было все равно: я немного отупела в этой больнице и научилась ни на что не реагировать.

Помню, что после мы с мамой бежали бегом по тому самому больничному пустырю, где стояла тетя Тоня, и мама, оглядываясь, меня подгоняла. Я узнала позже, что при таком осложнении после скарлатины в ту пору полагалось делать трепанацию черепа за ухом. Но мама на такую операцию была не согласна – и просто выкрала меня из больницы без всякой выписки и документов. Поэтому мы и бежали по пустырю: мама боялась, что нас поймают и меня вернут обратно.

Потом мы плыли на большом пароходе, я плакала, потому что ушки болели сильно, а мама, пытаясь успокоить, носила меня на руках по большому застекленному салону и пела: «У кошки боли, у собачки боли...»

Мои корни

Иначе как на пароходе в Великий Устюг к деду не добраться. Дед в Устюге был человеком знаменитым: знали его все от мала до велика – и любили все, даже бандиты. Однажды ночью, когда дед шел на вызов к больному, его обобрала шайка. Но стоило им посветить фонариком деду в лицо, как они ахнули: «Это же доктор Алентов!» – все ему вернули и, извинившись, убежали.

Дед после инсульта был наполовину парализован, но всегда встречал меня на высокой деревянной лестнице второго этажа маленького дома, где он жил со своей второй женой Павлой Павловной, маминой мачехой. Я вприпрыжку бежала к нему вверх, и он ловил меня своей здоровой левой рукой. Ею же он писал нам с мамой письма: научился после инсульта. Буквы получались необычные: большие, но не круглые, а скорее квадратные и с наклоном влево. Он любил меня, всегда был рад меня видеть, и я прекрасно запомнила две чудесные комнаты, которые занимал дед, – очень солнечные, с обстановкой прошлого века. В столовой – длинный старинный стол, стулья с высокими спинками, этажерки с книгами, высоко на стене – часы с маятником и римским циферблатом. Каждый час они отбивали ход времени; для меня бой часов был нов и чрезвычайно притягателен. В другой комнате-спальне стояла удивительная кровать с периной, пуховыми подушками и таким же одеялом, и я проваливалась в эту пуховую нежность, в беззаботный дневной сон. Я с восхищением рассматривала ковер над кроватью: трех роскошных лошадей, которые неслись с развевающимися гривами!

Однажды на гастролях, уже в XXI веке, я столкнулась с такой же постелью в отеле маленького немецкого городка. Сегодня перины считаются вредными для позвоночника, и все гостиницы мира избегают их. А в этом городке меня ждали невероятно мягкие объятия уютной постели, и я заснула днем таким же безмятежным детским сном, как в спальне деда...

В темном коридоре стоял красивый мраморный умывальник с краном-непроливайкой, один кончик которого смотрел вверх, другой вниз. Можно было заставить воду литься по твоему желанию: или вверх, фонтанчиком, или вниз, как в обычных кранах, а то и вообще никак, если повернуть кран поперек! Это было так интересно, что я не отходила от умывальника, и меня в конце концов пришлось от него изолировать, пока я не спустила всю воду. Умывальник наполняли сверху: открывали крышку и лили воду в прямоугольную, довольно большую мраморную емкость, точно такую же, как на иллюстрациях детской книжки про Мойдодыра.

Эти детские воспоминания напомнили о себе, когда мы с мужем приехали в Великий Устюг. Неподалеку, в Вологде, отыграли гастрольный спектакль, и принимающей стороне он так понравился, что организаторы сделали нам подарок – привезли в Великий Устюг. Наконец-то я смогла показать мужу город моего детства и поклониться праху деда.

Город поразил нас обоих величественной северной красотой. Мы пообщались с человеком, который написал несколько книг об истории Великого Устюга, знал моего деда, когда еще сам был подростком. Он помнил грандиозные похороны доктора Алентова, прощаться с ним вышел весь город, гроб несли на руках до самого кладбища, а путь туда неблизкий. Еще была жива очень пожилая дама, которая помогала деду и его жене по хозяйству и помнила мою маму. Стоял и дом, в котором жил дед, куда я приезжала к нему в гости и за которым находилась водолечебница – дед ее построил для лечения нервных болезней.

Мне очень хотелось, чтобы и младшее поколение познакомилось со своими корнями, увидело эту удивительную северную красоту. Но в то время внуки были малы, а теперь слишком заняты, и недавно мы ездили на Север только с дочерью. Но я все равно радовалась, что могу ходить с нею по дорогим моему сердцу местам: а уж она, я надеюсь, однажды передаст эстафету внукам. Дочь тоже очаровал город множеством прекрасных храмов, людьми, совсем не похожими на москвичей. А еще музеями, где сохранены уникальные костюмы, удивительное оружие, древние карты, веселые прялки, расписанные ярким

растительным орнаментом, и еще множество разнообразных мелочей, предметов народного быта...

К сожалению, дом, где жил дед, теперь стоит обветшалый, закрытый прорезиненным полотном, – так государство охраняет памятник архитектуры. Вот только дом деревянный и полотно его сохраняет плохо, а денег на реставрацию у города нет...

Цела и по сей день принимает пациентов поликлиника, где дед проработал всю свою жизнь: на ней власти города решили установить мемориальную доску с именем деда и годами его службы. Мы очень благодарны за память и поедem на открытие этой доски, как только достроят аэропорт – иначе добираться до Устюга долго и сложно...

Когда я поступила в школу-студию МХАТ, то сразу после экзаменов отправилась в Казань гостить к моим двоюродным сестрам, детям маминого брата Андрея. Со старшей, тоже Верой, мы были одноклассниками, она в это же время поступила в Казанский политехнический институт, а Ирина, на два года нас младше, заканчивала школу. Там же, в Казани, я познакомилась с еще одним «дядей» – тем самым Палладием, которого раньше видела на фотографии с молодой тетей Клашей. На самом деле Палладий Александрович тоже был мне дедом, так как приходился родным братом Николаю Александровичу Алентову. Но, как и у «тети» Клаши, у казанских родственников принято было называть Палладия дядей.

Когда я пришла к нему в гости, то увидела в коридоре такой же мраморный умывальник с краном-непроливашкой, такие же часы с боем в комнате и пуховую кровать в спальне. Деда уже не было в живых, а меня тут же охватило ощущение перемещения во времени – в эпоху далекого детства. И от всех вещей пахло так же, как и от вещей деда, и, хотя в гости я приехала к младшему поколению, больше любила бывать у дяди Палладия.

Дядя Палладий закончил сельскохозяйственную академию, знал французский язык (откуда – непонятно), внешне – худенький, изящный, с тонкими чертами лица, на него моя мама была похожа чернотой глаз и изогнутой формой ноздрей. Эти ноздри встречаются у членов нашей семьи по сию пору: у меня, у моей казанской сестры Ирины и у моей дочери. У внуков то появляются, то исчезают –

видимо, еще не приняли окончательного решения, чьи родовые черты наследовать.

В свое время Палладий отсидел десять лет и, если бы не хлопоты жены, которая прошла всю войну военным врачом, возможно, и пропал бы в лагерях. Палладий был веселым человеком: казалось, десятилетняя отсидка никак не повлияла на его легкий от природы нрав. Он все время напевал себе под нос что-то по-французски и показывал мне огромные атласы с расчерченными цветными карандашами слоями почвы, которые хранил под потолком на книжных шкафах и которыми очень дорожил. С тех самых пор, как дядю сняли с важного поста в сельскохозяйственной академии и арестовали, жена берегла эти атласы. Она хранила их все годы его ареста, несмотря на военные тяготы, и сберегла до самого его возвращения из лагеря.

Между Палладием и моим дедом существовала негласная вражда. Палладий был обижен, что дед, имея орден Ленина, не хлопотал о его освобождении. А деда в тот год, когда Палладия посадили, лишили должности главного врача и перевели на должность врача обычного. И в его трудовой книжке так и не появилась запись о присуждении ордена Ленина, хотя на всех официальных фотографиях дед с орденом на груди. А без официальной записи и учитывая арест брата, дед боялся лишиться ордена, а там и до тюрьмы недалеко. Какие уж тут хлопоты. Палладий ничего этого не знал, считал положение деда стабильным и обижался, что тот бездействует. Говорить в семье на эту тему было не принято, но шепотом, из уст в уста, история передавалась. Возможно, и Клашино смущение по поводу фотографии объяснялось той же непростой ситуацией.

Больше всего негодовала по этому поводу жена Палладия, тетя Шура, которая билась за своего «Паладьку», как она его называла, в одиночку – заваливала просьбами и требованиями все мыслимые инстанции. Наконец через десять лет она добилась справедливости и вырвала свое сокровище из жерновов страшной машины, перемалывающей человеческие судьбы. Когда я оказалась у них в гостях, тетя Шура была уже грузной старой женщиной, к тому же совершенно глухой. Разговаривать с ней (вернее, кричать в ухо) мог только Паладька, других она не понимала. Его это нисколько не раздражало и ничуть не мешало радоваться жизни. Детей у них не было, жили они на скромную пенсию. Когда я уехала в Москву и стала писать письма своим вновь обретенным пожилым родственникам, всегда получала ответ от Палладия и иногда – перевод на десять рублей. С припиской: «Не упоминай в письмах о моем переводе». Это,

конечно же, было всегда кстати в бедной студенческой жизни, но и трогательно до комка в горле. Выкроить деньги из пенсии, притом, что хозяйство вела жена, Паладьке было трудно: и жену обидеть не хотел, и меня поддержать считал своим долгом!

О папе

Потом в нашей жизни появился Юрий Орлов, новый муж мамы, мы покинули Котлас и уехали в Кривой Рог.

Позже я узнаю, что отношения моих родителей разладились, когда мне исполнилось три года. Папа отправился искать лучшей актерской доли в другие города. Папа был очень красив и, говорят, очень талантлив. Они с мамой учились на одном курсе в Архангельском театральном училище, часто играли вместе учебные сценические отрывки и спектакли. После свадьбы они получили распределение в Котласский драматический театр. Папу это не устраивало с самого начала: он хотел не куда-нибудь, а в Москву!

Я не знаю всех перипетий, но сохранилось письмо, где речь идет о возможности показаться руководству Московского театра на Малой Бронной. Кто-то, видимо, увидел его в спектакле и порекомендовал. Наверное, действительно папа обладал талантом – иначе вряд ли заинтересовались бы актером из глубинки. Но отношения родителей разладились не из-за театра: у папы появилась возлюбленная. Семью рушить папа не хотел, потому держал отношения в тайне, но мама эту тайну узнала и тут же перешла спать на сундук (я помню этот сундук из первой квартиры, где я училась ходить). Мама положила под подушку большой нож и предупредила папу, чтобы он к ней больше никогда не приближался.

Московская история с театром как-то сама собой сошла на нет, и папа уехал в другой город: не то в Грозный, не то в Кизляр. Маме он сказал, что разводиться не собирается, а как только найдет хорошее место, вызовет нас к себе. Папа думал, что за время его поисков обиды забудутся, но мама думала совсем иначе, она твердо решила расстаться и объявила об этом. Вот тогда мы с ней и переехали в другой дом – где зимой была снежная горка.

Мама порвала все папины фотографии, никогда больше не встречалась с бабушкой, папиной мамой, и впервые я увидела фото отца в 15 лет, когда ее привезла папина однокурсница.

Папа умер внезапно 4 января 1946 года, но в каком городе, от какой болезни, я точно не знаю. Его друзья, когда я уже стала взрослой, написали мне и даже переслали несколько его писем к ним (из которых я и узнала о приглашении показаться в театре на Малой Бронной). Друзья тоже говорили про Грозный и Кизляр, что умер он не то от бруцеллеза, не то от воспаления легких...

Маму его смерть потрясла, она тогда впервые закурила. Несмотря на то что отношения прервались и папа умер для нее на год раньше, смерть его стала шоком. Думаю, невозможно осознать в 28 лет, что молодая жизнь – а они с папой были ровесниками – может оборваться вот так вдруг. Мама была человеком верующим, и, возможно, ее мучило, что она его так и не простила. На мои вопросы о папе она отвечала кратко: сказать нечего – он умер.

Переехав вместе с мамой в другой дом, я тоже перестала видеться с бабушкой, и все связи с отцовской линией оказались разорваны. Но когда я подросла, то заинтересовалась родословной и снова стала обращаться к маме с вопросами. Про своих родных мама рассказывала тоже очень скупое, и позже я пойму почему, а про папиных и вовсе молчала. Все, что написано выше, я узнала, а вернее – понемногу вытянула из мамы, уже когда выросла. Однажды (я училась на втором курсе и еще носила папину фамилию Быкова) бабушка и папина сестра разыскали мой адрес и прислали мне толстенное письмо. Казалось бы, вот она – возможность наладить с родственниками взрослые отношения, да и о родословной узнать... Но письмо оказалось пронизано ненавистью к маме и было настолько оскорбительно, что в ту же секунду отвратило меня и от людей, его написавших, и от желания что-либо у них узнавать. Я настолько трепетно и безоговорочно любила маму, что письмо, ее порочащее, вызвало во мне только брезгливость.

Повзрослев, я научилась смотреть на жизнь шире. Помогла этому моя профессия актрисы, которая обязывает тебя быть адвокатом роли. Каким бы негодяем и подлецом человек, которого ты играешь, ни был, ты должен считать его правым. И я сумела представить, каково было моим родственникам пережить смерть сына и брата, такого молодого. Для его матери и сестры эта смерть наверняка стала сокрушительной трагедией. Зная мамин характер, уверена, что в свои отношения с мужем вряд ли она кого-нибудь посвящала. Допускаю, что убитые

горем папины родные могли винить маму за его отъезд в другой город и внезапную смерть. Тем более что мама резко оборвала общение с ними и переехала на другую съемную квартиру, предоставив самому папе объяснять своим родственникам, из-за чего случилась размолвка, а по сути развод. То, что после расставания с мамой папа был жив еще почти год, конечно, для них не имело значения.

Все понимаю: и их горе и, вероятно, желание не потерять меня – «кровиночку»... Но письмо, которое я сразу порвала, и его оскорбительно-обвиняющий тон помню. И, глядя на фотографии бабушки и папиной сестры, я так и не испытываю к ним никаких теплых чувств: они для меня совершенно чужие люди. А фотографии папы, папиных отца и деда висят у меня на стене, хотя я и не застала их в живых, и нет никаких воспоминаний, с ними связанных.

Воспитание

Маме я обязана всем, что умею, а умею я много чего. Еще в детстве мама научила меня и шить, и вышивать, и вязать, и штопать, и красиво зашить порвавшуюся одежду, и починить-прибить-побелить-поклеить-обои, и сварить нехитрую еду.

А когда я повзрослела, мама преподавала мне еще больше важных уроков:

Быть готовой к неприятностям и уметь их достойно переживать.

Не хвастать.

Со своими проблемами разбираться самой, не ставя людей в зависимость от своей ситуации.

Не лгать и никогда не брать чужого.

Держать данное слово.

Быть одинаково любезной с любым человеком, будь то дворник или король.

Никому не подражать: ценить самое себя. Но не «якать» (лучшее местоимение – «мы»).

Не завидовать – довольствоваться тем, что есть.

Ценить людей с собственным мнением, даже если оно отличается от общепринятого.

Иметь свое мнение обо всем и не поддаваться давлению.

Быть выше сплетен, самой в них не участвовать и дальше никому не передавать: «Пусть зло заканчивается на тебе».

Судить человека по поступкам, а не по тому, что о нем говорят.

Не верить в плохой поступок человека, если ты не была этому свидетелем.

Никогда не терять достоинства.

Быть интеллигентным человеком. А это значит – не делать чего-то запретного не потому, что кто-то об этом узнает, а потому, что ты сама себе не можешь этого позволить. Чтобы перед своей совестью не было стыдно.

Конечно, это уже сейчас я объединила мамины советы в некий кодекс. Однако на каждое из этих правил приходится очень конкретный мой детский или подростковый поступок – и разговор на эту тему. При этом нужно учесть, что мама, как и все поколение наших родителей, очень много работала: казалось бы, времени на воспитание детей не хватало. И все же воспитанием моим она занималась, воспитывала строго, а я маму обожала, так что каждое ее слово становилось законом. И всю жизнь я старалась все эти мамины, а по сути человеческие законы соблюдать.

Мама была верующим человеком, о чем я узнала, уже будучи взрослой. Мы росли в стране, где религия не приветствовалась. Я была прекрасной пионеркой: после уроков помогала отстающим, с удовольствием ходила на субботники, собирала макулатуру и металлолом и хотела с каждым днем становиться лучше и соответствовать призыву: пионер – всем ребятам пример! С радостью я вступила

в комсомол. А вот партия энтузиазма не вызывала. Я была уже взрослой, и мне не нравилось то, что там происходило: конечно, знала я немного, но и то малое, что находилось на поверхности, мне не нравилось. Я так в нее никогда и не вступила – несмотря на приглашения, особенно настойчивые, когда я стала известным человеком. Я следовала все тому же закону мамы: всегда иметь свое мнение и противиться любому давлению.

А вот депутатом районного совета была два раза подряд: я хотела помогать людям, которые меня выбрали. За 6 лет работы помочь удалось только четырем семьям: в основном приходилось решать проблемы с жильем. Раз в неделю, в назначенный день и час, я приходила в маленькую комнатку, выделенную депутатам, по несколько часов выслушивала просьбы посетителей, иногда ходила по адресам удостовериться, что мой депутатский запрос окажется правдив и справедлив. Все это, естественно, я делала на общественных началах, денег за это никаких не предусматривалось. Но желание помочь людям, сделать все от тебя зависящее, чтобы жизнь стала справедливее, у меня было огромное. И все это тоже от мамы: она всегда близко к сердцу принимала любую несправедливость...

Свою веру в Бога мама от меня долго скрывала. Но всегда просила перед сном вспомнить, как прошел мой день, и поблагодарить его мысленно за все хорошее.

Когда моей дочери было четыре года, один летний месяц она прожила у мамы в Брянске, и, когда я приехала ее забирать, мама нас обеих окрестила.

Кривой Рог

Итак, мы переехали в Кривой Рог.

Мне, наверное, было лет шесть, потому что я опять пошла в детский сад. Первое впечатление от этого чудесного города летнее и теплое: мы с мамой на базаре, прилавки заполнены ягодами и фруктами, и все-все продавцы протягивают мне на ладонях вишни, груши, яблоки, предлагают попробовать. И я пробую всю эту невероятную вкусноту, а мама ее покупает, поражаясь дешевизне и радуясь, что ее тощий северный ребенок получит сразу столько витаминов за одно лето. На Севере еда была совсем другая: я помню очень вкусную треску, вареную

картошку и соленые грузди. Много позже я узнала, что у северян даже прозвище такое есть – трескоеды. В Москве я попробовала треску «московского разлива», и она не слишком впечатлила меня. А еще в детстве я очень любила рыбий жир. Всем детям моего поколения прописывали рыбий жир, и у всех он вызывал стойкое неприятие: родителям стоило большого труда уговорить дитя выпить ложечку. Я же эту ложечку выпивала с наслаждением и под смех мамы просила еще.

Зимой в Кривом Роге мне впервые принесли елку на Новый год – принес новый мамин муж, тот самый Орлов. Но я осталась к елке равнодушна, потому что ничего о таком празднике толком не знала. Ёлки были редкостью: мирная жизнь еще не вполне вступила в свои права.

В доме, где мы теперь снимали жилье, этажом выше жил со своей семьей красавец, актер украинской драмы – любимец публики с красивой фамилией Красноплахтич. В семье подрастали два мальчика, и еще с ними жила бабушка. Младший мальчик был моим одноклассником, звали его Даня. Мы с ним так подружились, что летом, когда садик не работал, все дни проводили вместе во дворе нашего дома. Двор казался огромным, и мы редко выходили за его пределы. Днем мы расставались, только чтобы пообедать, а вечером – до следующего утра. Обедать нас звали всегда почти одновременно, и вот однажды мама позвала меня обедать, а Даню бабушка – еще нет. Мы сговорились после обеда опять встретиться, но, когда я села за стол, во дворе и в подъезде слышались какие-то крики, шум, возня... Оказалось, что Даня почему-то решил покинуть двор, а когда перебежал через дорогу на другую сторону улицы – попал под машину. Его мама в абсолютном безумии спрашивала мою, почему она не позвала Даню обедать тоже. Через три дня Даня умер в больнице.

Я видела из окна, как привезли на машине его завернутый в белую простыню трупик. Видела, как убитая горем бабушка этот трупик в простыне обнимает... Это было первым большим горем в нашем дворе. Все дети сидели по домам: родители никого не выпускали, чтобы не травмировать маму Дани, та от горя словно лишилась рассудка: сидела взаперти и не могла смотреть на детей, особенно на меня – начинала громко кричать и вырываться из рук близких, которые ее поддерживали.

Через какое-то время к нам пришла Данина бабушка и, взяв меня за руку, повела попрощаться с моим другом. Я боялась идти, но виду не подавала. Я очень боялась

его мамы, но ее в комнате не оказалось. Я увидела Даню в гробу, в цветах, на закрытых глазках его лежали пяточки, в комнате горели свечи. Даню я совсем не боялась. Бабушка подвела меня к нему, я не знала, что нужно делать, но как-то по-детски с ним попрощалась, покивала головой. Потом бабушка привела меня обратно.

В тот день, когда я пошла обедать, а Даня попал под машину, это произошло так стремительно, буквально в несколько мгновений – и оглушило меня осознанием чего-то очень страшного, непоправимого. Я почувствовала это сразу, еще до прощания у гроба. Я еще в те минуты сразу поняла, что Даню больше никогда не увижу. Это была первая потеря в моей жизни, и, как я понимаю теперь, очень значительная. У меня еще долго не будет близких друзей, следующая подруга, к которой я смогу привязаться так же безмятежно, появится у меня только через десять лет. Я думаю, это инстинктивный страх потери долго не позволял мне дружить сердечно.

Его полное имя Богдан Краснопахтич. У его родителей вскоре появится дочка, весь двор будет радоваться рождению этого ребенка... Его мама немного встrepенется и оживет, но, завидя меня, как и прежде, будет проходить мимо очень быстро, опустив глаза, как будто меня нет. А я, увидев ее, буду вжиматься в стенку, как будто меня нет на самом деле...

Учение

Я пошла в первый класс под именем Вера Орлова: Орлов записал меня на свою фамилию. Двухэтажная школа под номером 25 называлась «красная», возможно, потому, что ее построили из красного кирпича. С первого по четвертый класс у нас преподавала удивительная учительница Анастасия Георгиевна – очень добрая пожилая дама, с черным бантом в старинной прическе. Школы тогда были с раздельным обучением, наше девичье сообщество оказалось дружным, и Анастасия Георгиевна очень нас любила. Она была одинока, и мы приходили к ней в гости, в тесную и уютную комнатку. Ее дом напоминал самый первый мой дом в Котласе: такой же темный, бревенчатый. Он стоял напротив того места, где Даня попал под машину, и каждый раз, приходя в гости к своей замечательной учительнице, я с тоской вспоминала своего друга...

Школа находилось довольно далеко, а я училась в первую смену, а значит, нужно вовремя вставать, а часов у нас не было. Старый будильник при переездах потерялся, а маленькие золотые часики, которые когда-то принадлежали моей бабушке (мама их получила от деда и бережно хранила как память), в трудные времена пришлось сдать на золотой лом, чтобы выручить хоть немного денег. По сию пору осталась у меня от них деревянная крошечная шкатулочка с застежкой и золотым вензелем на потускневшем шелке внутри – подтверждение, что часы швейцарские.

Не имея часов, мама будила меня в школу по заводскому гудку: из-за этого она плохо спала, то и дело высовывалась в форточку, прислушивалась к звукам снаружи. Уроки начинались в восемь утра, мама будила меня в семь, но однажды мама ошиблась, ей показалось, что прозвучал заводской гудок, и она разбудила меня раньше времени. В результате явилась я в школу не к восьми, а к шести утра. На дворе – зима, темно и холодно. Школьный двор непривычно пуст, да и дверь в школу закрыта, и я решила, что опоздала. Стала стучать в дверь, а там внутри, рядом со входом, в небольшой каморке жила бабушка, которая нас всегда встречала и звонила в колокол, оповещая о начале и конце уроков. Мы все ее очень любили, и она любила нас. Бабушка открыла мне двери в халате из байки, с расплетенной седой косицей. Она удивилась моему раннему приходу, но пригласила в свою каморку и напоила чаем, мы чудесно скоротали с ней эти два часа.

В то время школьная форма была обязательна: коричневое платье и два фартука: белый нарядный и черный повседневный. Фартуки мне мама купила, а форму купить не могла и сшила мне школьное платьице из своего: вот только оно было серого, а не коричневого цвета. У меня в дневнике все время появлялась запись с просьбой к родителям купить дочери форму, но положение у мамы сложилось отчаянное: переезд с Севера на Украину, как любой переезд, даже с малым количеством вещей, потребовал больших затрат. Новый мамин муж записал меня в школу, а сам уехал в Днепропетровск: он был режиссером, а в Кривом Роге свободной режиссерской ставки не нашлось. Он говорил, что в Днепропетровске его ждут, и уехал туда «устроиться», а потом перевезти нас. Но устроиться все почему-то не получалось, денег катастрофически не хватало, так что форму мне из Казани прислал по маминой просьбе ее брат Андрей. Форма изначально покупалась для сестры Веры, и она в ней проходила целую четверть, но вдруг резко подросла и поправилась, вот форму и отправили мне. В той же посылке лежали черные туфельки с перепонкой, из которых Вера тоже выросла. Я пришла в восторг, увидав такие сокровища: ведь, кроме сшитого мамой серого платьица, у меня было только одно домашнее платье из фланели

да сандалии на подошве, ставшей почти платформой от многоразовых починок. Форма оказалась впору: я была худенькой, а вот туфельки малы, но я говорила маме, что они мне в самый раз, так хотелось их надеть. Я пару раз даже ухитрилась в них куда-то сходить, поджав пальцы, но в конце концов пришлось признать, что это очень больно, и от туфелек отказаться.

Помню, однажды мы с моей одноклассницей и ее братом играли в их довольно просторной квартире. Мы бегали туда-сюда и случайно разбили графин. Почему-то решено было, что именно я его разбила, а стоил графин три рубля. Помню лицо мамы, когда я сообщила ей о несчастье. Отдать такие деньги сразу она никак не могла. Потом, безусловно, она вернула полную сумму – но не сразу, потому что это как раз совпало с периодом, когда актерам не платили зарплату целых 9 месяцев. Цехам платили: пошивочному, реквизиторам, осветителям... А актерам – нет. И мама попросилась в пошивочный цех, чтобы в свободное от репетиций и спектаклей время подрабатывать там, пришивая к платьям и костюмам пуговицы, крючки и петли. Поскольку мифический муж отсутствовал и она была одна с ребенком, а зарплата не выплачивалась, ее в цех взяли, и бедная моя мама напришивала этих крючков и пуговиц столько, что еще очень долго не могла их видеть. И если она уже много позже шила платьице мне, то пуговицы я всегда пришивала сама.

Орлов записал меня еще и в музыкальную школу, правда, по классу скрипки: на фортепиано мы опоздали и мест не хватило. Оставалась надежда позже перевестись, тем более что первый год обучения шел по единой программе. Занятия в музыкальной школе были платными, мне купили невероятной красоты нотную папку синего цвета с белым рисунком посередине: скрипичный ключ и ноты. Но ходила я в эту школу недолго, только два месяца: занятия казались мне скучными, а молодая учительница слишком требовательной. Мне тяжело давались бесконечные и бессмысленные гаммы... От этого периода моей жизни осталась только красивая нотная папка, она еще долго радовала глаз – а потом куда-то задевалась...

Когда мне было 13 лет, мы с мамой оказались в Узбекистане, в городе Коканде, и жить там пришлось в помещении театра. Однажды я услышала льющиеся откуда-то прекрасные звуки рояля. Я пошла на разведку – и обнаружила, что звуки эти исходят из репетиционного зала. Повторялись они каждый день, когда театральная жизнь на несколько часов замирала: репетиция закончилась, а спектакль еще не начался. Дело было летом, у меня – каникулы, так что я могла каждый день приходить под дверь репетиционного зала и вскоре была

обнаружена художницей театра. Та пришла за своей старенькой мамой: это она играла на рояле, когда весь театр замирал. Выяснилось, что мама художницы – пианистка и учительница музыки. В свое время она с родителями эмигрировала в Харбин, а когда вернулась в Советский Союз, жить им разрешили только в Коканде, а преподавать не разрешили совсем, потому что мама художницы – верующая. Это была удивительно милая пожилая дама с прекрасными манерами. Узнав, что я сижу под дверью не первый день, она спросила, умею ли я играть. Услышав, что не умею, она предложила научить меня, если я этого хочу. Я засмушалась, рассказала о своем неудачном опыте, что гаммы и теперь мне не захочется играть, но прелестная маленькая женщина не сдавалась: она сказала, что играть мы сразу будем музыку, причем совершенно любую, а гаммы – это ерунда, это попутно! «Что вы любите? – спросила она. – Любите оперу «Кармен»? Давайте начнем с увертюры к ней?» Она мне ее сыграла, и я переспросила: «Я смогу это сразу сыграть?» – «Да! – ответила она мне. – Легко!»

И началось изумительное общение с этой невероятной женщиной, педагогом от Бога. Через месяц я действительно играла увертюру! Это называется – учить с рук: она мне показывала несколько аккордов, я их повторяла и заучивала.

Я до сих пор кое-что помню. Сначала нужно 19 раз взять целую октаву: то есть все семь, даже восемь клавиш. Большой палец – на «до» и мизинец – на «до»: обеими руками. Чтобы звук был чистым, попасть нужно именно на эти клавиши: в то время мне не хватало растяжки, даже если я изо всех сил растопыривала пальцы. «Если в свободное время поиграть гаммы, – говорила мне с невинной улыбкой моя очаровательная учительница, – играть будет легко: пальцы у тебя длинные!» Вот вам и стимул – гаммы долбить. Отныне я это делала вдохновенно! Я ужасно хотела показать маме свои умения и тем самым утешить ее: пусть не переживает, что в первом классе у меня не получилось учиться музыке. Каждый день по несколько часов я занималась с радостью и в итоге сделала это – сыграла маме увертюру!

К сожалению, зимой театр перевели в Фергану, так что мне пришлось попрощаться с этой удивительной женщиной. Но ее уроки мне оченьгодились. Через много лет я играла в пьесе А. Штейна «Жил-был я!», где моя героиня должна была петь и аккомпанировать себе на рояле. Я по-прежнему не умела играть на рояле, но я знала, что все можно выучить с рук. И выучила! И аккомпанировала себе в спектакле!

Кто же он, человек учащийся, – сосуд, который нужно наполнить, или факел, который нужно зажечь? Для меня этот вопрос был решен еще тогда! Конечно же факел! Зажженный вдохновением и интересом, ученик наполнит себя сам!

Переезды

Первые дни в Кривом Роге мы жили в гостинице. Помню, как-то проснувшись утром, я обнаружила у себя в ботиночке маленькую шоколадку. Оказалось, что пришел Новый год и это был подарок мне! Это первый подарок, который я запомнила.

Мы довольно часто переезжали: за шесть лет жизни в Кривом Роге сменили пять мест, не считая гостиницы, а потом наконец получили свою комнату. Все пять этих временных мест врезались в мою детскую память.

Переезжали мы по разным причинам. В одной из комнат с нами соседствовала бабушка, которая была не в себе, все время что-то говорила на идише и невзлюбила маму. Каждый раз, завидя ее, она шипела: «Мишигине коп!» Что означало «сумасшедшая голова». Этим она очень веселила своих родных, но только не нас. В другой квартире старший сын хозяйки попал под трамвай и лишился обеих ног: хозяевам было уже не до сдачи жилья. Какое-то время мы жили даже в примерной. У меня тогда на руке появились две болячки и все никак не хотели заживать. Когда по чьему-то вызову к нам явилась инспекция (жить в служебных помещениях запрещалось), мама попросила помочь с жильем, потому что, возможно, именно от нехватки дневного света у ребенка не проходят болячки на руке. Болячки были продемонстрированы, и комнату нам действительно вскоре дали.

Когда мы покидали Кривой Рог и съезжали из данной нам комнаты, соседи предлагали маме деньги, и, наверное, немалые, чтобы ключ она отдала им. Тогда у соседей получилась бы отдельная трехкомнатная квартира, и никто об этой сделке не узнал бы, уверяли они. И, хотя деньги наверняка пришлись бы кстати, ключ мама отдала куда следует. Закопослушность у меня тоже от мамы: я считаю это правильным. Я и на машине езжу аккуратно, и штрафы получаю очень редко.

...Вдруг снова объявился Орлов и, бросив все – а у мамы уже было хорошее положение в театре, – мы поехали с ним в Днепропетровск. Наше пребывание там оказалось недолгим, но ужасным, это понимала даже я, совсем еще ребенок. Привез нас Орлов в кассу кинотеатра и там разместил. Вообще касс у кинотеатра было две, и одну закрыли для нас: мы кое-как устроились в ней на трех метрах. За фанерной стенкой нашего жилища все время толклись люди: они стучали в закрытое окошко, возмущаясь, почему работает только одна касса. Кинотеатры пользовались популярностью: кино у нас любили. Мама нервничала: видимо, дела обстояли куда хуже, чем наобещал Орлов. Она не выпускала из рук спиц: одну за другой вязала очень красивые, яркие вещи, как выяснилось, не себе и не мне, а на заказ.

Вскоре мы с мамой вернулись в Кривой Рог, но мамино место в русской драме уже заняли, и она устроилась в украинский театр: именно там нам пришлось поселиться в одной из гримуборных – в очень маленькой комнатке с яркими электрическими лампочками на трех столиках, без дневного света. Туда и приходила инспекция – и вскоре после этого мы с мамой получили комнату.

Украинская драма находилась в помещении клуба Промкооперации: так называлось это здание. В дневное время там работали множество кружков, в один из которых я записалась и впоследствии даже «блистала» на сцене этого клуба, танцуя украинские танцы в красивом национальном костюме с венком из цветов и лент на голове. Венок во время представления все время сползал с головы – сначала на нос, потом на шею, но зрителям это казалось даже забавным: со мной выступали такие же маленькие дети, венок сползал не у меня одной, и нам всем горячо аплодировали. Костюмы нам шили прямо в танцевальном кружке. За яркие костюмы я его и выбрала: мне пообещали сшить такой же, если приду в кружок, вот я и пошла.

Вечерами клуб превращался в театр, и «блистали» там уже взрослые артисты. Играть нужно было на украинском языке, и мама без устали зубрила текст, чтобы он звучал правильно: языка она не знала и потому многие слова заучивала. Играла она главную роль в арбузовской «Тане» – большая, прекрасная драматическая роль.

Не помню, как это случилось, но через год мама вернулась в русскую драму. И Орлов пока еще не исчез из нашей жизни, но денег по-прежнему не хватало. И когда однажды в булочной, купив по просьбе мамы хлеб, я увидела оброненную кем-то трехрублевую бумажку, я очень обрадовалась. Подняв ее и для приличия

постояв с ней несколько минут – вдруг кто-то вернется, – я радостно бросилась домой, предвкушая, как похвалит меня мама. Но мама сказала, что чужое брать нельзя, и отправила меня обратно в булочную – отдать деньги. Я уверяла ее, что я постояла, подождала, и никто не пришел, но мама все равно велела оправляться в булочную и отдать деньги кассиру, объяснив, что я их нашла: может быть, человек вернется позже, может, он пока не заметил, что потерял. Разумеется, я так и сделала.

В этот же период помню два случая, когда мама будила меня ночью и мы шли в продовольственный магазин, который должен был открыться утром. В первый раз мы стояли длинную очередь за сливочным маслом, второй раз – за сахаром. В очереди было много детей, потому что на каждого человека полагалось определенное количество граммов дефицитного товара. Так что, если женщина говорила, что у нее есть ребенок, это считалось недостаточным: ребенка следовало предъявить...

Подарки

И вот наконец прошла тяжелая пора, когда актерам не платили зарплату. Маме выдали задолженность – сразу за 9 месяцев! И мама поехала в самую Москву и привезла мне оттуда удивительные вещи, которые и описать невозможно – слов не хватало, так они оказались хороши! Самым красивым было пальто: зимнее, шерстяное, но легкое – не на вате, а на ватине! Пальто ярко-синего цвета, с воротничком-стойкой из искусственного меха, в талии присборенное, а грудка и подол расшиты цветной и яркой фигурной тесьмой: красной, голубой, желтой и зеленой! Пальто было таким ярким, таким веселым и так мне шло, что его хотелось носить, не снимая даже дома!

Вскоре случилась денежная реформа, и мама стояла в длиннющей очереди в сберкассе, чтобы оставшаяся от девятимесячной зарплаты сумма, не потраченная в Москве и отложенная на черный день, не пропала.

Волшебное пальто из детства припомнилось мне через много лет, когда у меня родилась дочь. У нас в театре сложилась традиция передавать друг другу вещи наших детей, так я получила для дочери манеж и кое-какую одежду выросшего из нее мальчика. Одежду необходимо было переделать в девичью, в том числе

пальто с капюшоном синего цвета. Я разукрасила это скромное пальтишко с размахом: капюшон отделала искусственным мехом, а все пальто – разноцветной тесьмой. Конечно, ему было далеко до моего безупречного пальто из детства, но все же оно стало девичьим и нарядным! Дочери моих коллег были или старше, или младше Юли, и потому много еще мальчишеских вещей попадало в мои руки и превращалось в чудесные девичьи. Вот младшим девчонкам и доставались после Юли мои изделия.

Мама привезла мне платье на выход – цвета электрик, из какой-то заморской ткани, да еще ботиночки, отделанные мехом, которые назывались почему-то «румынки». Модницы в то время сами пришивали к ботинкам куски где-то раздобытого меха. Но на них сразу было заметно, что и пришито неровно, и мех не совсем мех: а тут самые настоящие, фабричные ботинки! А еще мама привезла чудесные разноцветные ленты и необыкновенной красоты портфель! А еще туфельки! Словом, в тот вечер я не могла уснуть от переполнявших меня чувств!

В беззарплатное мамино время я никогда не голодала и не имела понятия о маминых мытарствах. Мы брали домой обеды из столовой, и иногда к нам приходил обедать Миша, сын маминой коллеги. Нас не связывала дружба, но мама кормила нас обоих, видимо, понимая, что у Миши дома совсем дела плохи. Иные мои сверстники питались весьма сносно, но у всех нас было одно самое любимое лакомство: черный хлеб, который макаешь в пахучее подсолнечное масло. Еще одна девочка из класса иногда приносила макуху – спрессованный жмых из переработанных семечек. С каким же восторгом мы ее грызли! Тетя девочки работала на маслобойне и подкармливала нас отходами: каждому доставался приличный кусок этого чуда размером с кулачок.

Кому-то из детей давали завтрак с собой, а некоторым, и мне в том числе, давали рубль – после денежной реформы это были копейки. Но можно было не проедать его, а купить кулечек простых конфет, что я и делала: на переменках с удовольствием перебивалась «барбарисками» и была сыта. Правда, когда приближались праздники, я переставала тратить драгоценные рубли, а копила на подарок маме. Оставаясь без конфет на перемене, я стала замечать, что завтраки с собой детям дают разные: кому-то хлеб с сыром, кому-то – с белым медом, а кому-то и просто хлебушек. В предпраздничные дни я была бы рада и хлебушку, но не сдавалась и деньги не тратила. Зато, когда приходила домой, съедала все имеющееся в доме съестное. У мамы это называлось – «Веруня играла в Осипа», и это выражение у нас крепко прижилось. Появилось оно

потому, что впервые «продуктовое опустошение» произошло, когда в театре выпустили спектакль «Ревизор»: там, как известно, Хлестаков со слугой Осипом очень оголодали.

И вот наконец праздник! Все деньги до копейки зажаты в кулачке, и перед тобой огромный выбор товаров, которые можно приобрести в подарок маме. Можно, конечно, все вбухать в один флакон духов, но моя мама заслуживает много подарков! И потому я покупала немыслимое количество разнообразнейших мелочей. Весь этот огромный ворох утром вываливался маме на кровать, и ее встречала моя улыбающаяся мордочка. Я сияла от радости, произносила поздравление, ждала восторгов по поводу горы подарков и, конечно, похвалы.

Немало такта требовалось маме, чтобы и поблагодарить за этот ворох, и похвалить, и заронить в детскую головку мысль, что один дорогой подарок ценнее многочисленных дешевых мелочей.

Игры и развлечения

Я жила обычной жизнью школьницы: записалась в кружок художественной гимнастики, хорошо училась, ходила в городскую библиотеку. Помню свою первую книжку «Девочка из города», главная героиня которой во время войны потеряла родителей, и ее эвакуировали в деревню. Когда я прочитала «Мцыри», то подумала, что и мне пора что-нибудь сочинить в стихах. Села за стол, поставила томик Лермонтова перед собой и часа два вымучивала свою версию лермонтовского шедевра, но все же была вынуждена отступить. Попробовала сочинить что-нибудь попроще: пусть бы вышел не «Мцыри», но хоть какая-то рифма. Но, увы! Поняв с огорчением, что стихотворчество – не моя стихия, я убрала Лермонтова подальше.

Но читать я полюбила. Тогда издавалось много книг для подросткового возраста, и все они были ненавязчиво воспитательными. Героями выступали сами подростки, которые защищали слабых, помогали в учебе отстающим одноклассникам, и мне хотелось им подражать. «Тимур и его команда» – настольная книга моего поколения. Лет в 14 я прочитала «Два капитана» и полюбила ее на всю жизнь. Перечитав замечательную книгу Вениамина

Каверина уже взрослой, я поняла, что это по-прежнему моя любимая книга.

Я подружилась с четырьмя одноклассницами – двумя Людами, Наташей и Нелей. Мы жили недалеко друг от друга и гуляли нашей стайкой по городу. У одной из Люд тетя работала в кинотеатре и пускала племянницу в кино без билета. Потом, на прогулках, Люда нам пересказывала фильмы. Другая Люда жила в большой квартире с длинным коридором – прекрасная возможность бегать и беситься, в результате таких развлечений и разбился трехрублевый графин. Наташа была философ и все подвергала критике. А Неля была просто очень добрым человеком, ко всем относилась с пониманием. Я в нашей компании выделялась тем, что умела рассказывать небылицы.

Поскольку по бедности с игрушками у меня было не густо, мама рисовала мне на картонке куклу в трусиках, потом вырезала ее, а мы с подругами ее одевали. Рисовали для куклы наряды, вырезали их по контуру и прикрепляли к плоской картонной кукле.

Подругам я вдохновенно рассказывала, что раньше у меня была настоящая, совершенно необыкновенная кукла, но она разбилась прямо на вокзале, перед приездом в Кривой Рог. Девочек завораживало описание куклы: ее размеры, одежда, умения и мои искренние переживания о горькой потере. Правда, нагородив с три короба, я вспоминала строгий мамин завет никогда не врать, и мне становилось стыдно. И все же фантазировала я много – на самые разные темы.

Под моим руководством мы ставили спектакли в нашем дворе и приглашали взрослых на премьеры. Те с радостью приходили, предварительно снабдив нас необходимым реквизитом. Заняты в моих спектаклях были все дети двора, от мала до велика, а детей в нашем дворе жило много. Нарисованные билеты быстро раскупались за нарисованные деньги, зрители рассаживались на принесенных с собою стульях, публика была благодарная: на ход спектакля реагировала живо и в финале аплодировала от души.

Жизнь была насыщенной и очень разнообразной. Нам предоставляли много свободы, летом в теплом южном городе дети бегали на улице до темноты. Дворы не загораживали шлагбаумами, машины заезжали туда редко, да и машин-то было мало. Мы ходили друг к другу в гости, даже если друзья жили далеко, и взрослые за нас не волновались. Мы даже отправлялись купаться на речку Ингулец, и с нами увязывались совсем маленькие: взрослые нам и такое

разрешали. Мы лазили по деревьям и крышам сараев, играли в прятки и в «штандер» – мяч резко ударяли о землю, он взмывал в небо, а мы стояли в кружке и ждали, когда он вернется, опять ударится о землю, а потом, отскочив от нее, обязательно попадет в кого-нибудь из стоящих в кругу. А вот этого не хотелось, но уходить из круга нельзя, и потому каждый старался, стоя на месте, увернуться, избежать этой участи, потому что тот, в кого мяч попал, должен был выполнять желания стоящих в кругу.

Мальчишки играли в «ляндру»: кусочек меха с прикрепленным к нему утяжелителем из свинца нужно было подбросить рукой и, не дав ему упасть, продолжить подбрасывать «ляндру» уже внутренней стороной ботинка. Некоторым виртуозам удавалось до пятидесяти раз это сделать, а мы стояли вокруг и вслух считали. Где уж мальчишки брали свинец, не знаю, но в каждом дворе была своя «ляндра», и мальчишки, сбивая кожу на обуви, били по ней до посинения.

Мы бегали, обгоняя друг друга, падали, ушибались, вставали и бежали дальше. Мы строили жилища ничейным дворовым котам, укладывали их спать на «кровать» из кирпичиков, застилали им тряпочку-простынку, укрывали тряпочкой-одеялом и никак не могли взять в толк, почему благодетельствованный нами котик так отчаянно царапается и вырывается из уютнейших апартаментов! Помнится, на кошачьем туалетном столике-камне даже приспособили осколок настоящего зеркала – немыслимая роскошь.

Домой мы являлись с разбитыми коленками и локтями, поцарапанные с ног до головы. Когда мама мыла меня в тазу, я непременно причитала: «Ой, мамочка, осторожно, коленка!» Или локоть, или что-нибудь еще. Словом, со двора мы возвращались как с поля боя. Помню, как однажды мама удивленно сказала, намыливая меня мочалкой: «Надо же! Ни одной царапины, ни одной болячки!» Этот необыкновенный случай, кажется, произошел уже перед нашим расставанием с Кривым Рогом и моим переходом в шестой класс.

Была у меня и еще подружка, которая один раз в год, когда приезжала ее бабушка из Белоруссии, приглашала нас с еще одной девочкой к себе в гости. Мы приходили, пили чай с очень вкусным пирогом (позднее поняла, что угощали нас куличом, а бабушка приезжала на Пасху). Нам было и вкусно, и очень интересно в гостях: бабушка нас понимала, но что она говорила сама, понять было решительно невозможно, хотя она и говорила, казалось, по-русски. Внучка ее понимала тоже прекрасно и нам переводила бабушкин язык, а мы

сопоставляли звучание слов и ударений и очень веселились. И бабушка смеялась вместе с нами: она привыкла, что ее быстрый белорусский говор непонятен, а медленно говорить она не умела, очень шустрая была старушка. Однажды мы пришли к ним в гости по приглашению, а нам никто не открыл. Дорога была долгая: та девочка жила довольно далеко. Смириться с тем, что ни пирога, ни бабушки не будет, мы никак не могли: очень уж редко на нашу долю выпадали сладости. Мы высматривали хозяев на дороге, заглядывали в окна, стучали в дверь и решили ждать до победного конца: должны же люди когда-нибудь вернуться! Но вскоре начало темнеть, и мы отправились домой. На следующий день мы были вознаграждены: Света, так звали девочку, принесла нам по кусочку кулича в школу, но почему-то оказалось, что есть на переменке совсем не так вкусно, как у нее дома, с болтающей на непонятном языке бабушкой!

Отравлял мое существование в это чудесное время только петух – рыжий, с ярким разноцветным хвостом, и очень голосистый. Он невзлюбил меня сразу, с первого своего петушиного взгляда. Я о его существовании ничего не знала, пока он не начал действовать. На каждую квартиру в нашем доме приходился свой сарайчик во дворе: там держали разные предметы быта, а кто-то и живность, у одного соседа даже целая свинья жила, встречались утки и куры. Этих самых кур под предводительством петуха выпускали из сарая на прогулку, они что-то сосредоточенно искали в земле и клевали, а петух зорко следил за входом в дом со стороны двора: он ждал меня. Надо сказать, что дом у нас был замечательный: красивый, двухэтажный, с парадным и черным входами, с живописной лестницей и огромной застекленной террасой на втором этаже. Вот только колонка с водой была во дворе, да и туалет – тоже на улице, за сараями. И все жители дома, стар и млад, с утра направлялись по очереди в сторону туалета. Ко всем жильцам петух был равнодушен – кроме меня. Он замечал каждое мое появление. Наши встречи проходили одинаково: я бежала по двору зигзагами, сначала в одну сторону, потом в обратную, а петух несея за мной вслед, невысоко взлетая и злобно похлохтывая за моей спиной. Я очень боялась, что вот сейчас он меня догонит и проклюнет мне голову насквозь. Почему из всех обитателей дома он невзлюбил именно меня – осталось тайной. Может, дело было в том, что я новенькая: мы с мамой переехали позже других. Однако мы жили в нашей законной комнате, не в съемной, и двор я уже по праву считала своим, и соседей – нашими. Только петух никак не хотел признавать законности моего проживания.

Соседи

Люди в доме обитали очень интересные, и у всех были дети. В одной квартире с нами жила большая семья: родители, двое детей, да еще бабушка. У них – две комнаты, у нас с мамой – одна. Жили мы дружно и поддерживали друг друга: мы с мамой отдавали им, например, очистки от картошки, а они нам раз в год приносили большой кусок очень вкусной домашней свиной колбасы. Где они держали свинью, я не знаю: в сарайчике были у них только гуси.

Старшему их мальчику, очень серьезному и взрослому, стукнуло уже лет 14, так что с ним я общалась мало. Зато маленькая Зиночка, трех лет и необыкновенной красоты, полюбила меня всем своим крохотным сердцем, а я полюбила ее. Когда на улице темнело и во дворе игры заканчивались, мы с ней придумывали занятия у нас в комнате: мама моя еще не возвратилась со спектакля, а родители Зиночки доверяли мне, ее семилетней подруге. Так что мы с Зиночкой бесились, пели, танцевали, пока обе не падали от усталости.

В соседней квартире, большой и хорошо обставленной, жил какой-то начальник – пожилой человек с молодой женой и маленькой дочкой лет пяти, болезненной и бледненькой: ее никогда не выпускали во двор. Ее детская комната была забита разнообразными игрушками. Родители пытались найти своей девочке друзей и по одному, на пробу, приглашали к себе в гости детей из нашего дома. Однажды пригласили и меня. Я очень сочувствовала этой девочке, но оказалось, что с ней очень скучно, а за стенкой меня ждала разбойница Зиночка, с которой можно кувыркаться, кидаться подушками и, заворачиваясь в простыню, изображать привидение, и не беда, что игрушек у нас нет. С этой малышкой из богатой семьи так никогда бы не получилось поиграть...

На втором этаже жила семья с тремя разновозрастными детьми, и все с боевым характером. Жили там еще бабушка с внучкой, у них возле сарая росла вкуснящая вишня. Ее от детей охраняли, рвать спелую черную вишню не разрешали: она была не общая, а их личная. Но когда там же, около сарая, варили на печке варенье из этой самой вишни, мы все стояли вокруг и терпеливо ждали, когда угостят пенками. Все пенки были нашими!

За сараем росла огромная шелковица, с черными, сладкими ягодами. Мы облепляли дерево, как саранча, и ели шелковицу от пуза, ягоды пачкали наши мордочки и руки в сине-фиолетовый цвет, и отмыть нас было очень нелегко.

Еще на втором этаже жила миловидная блондинка с белобрысым сыном. С ними никто не общался: она родила мальчика от немца во время оккупации города. Никто не демонстрировал этой женщине неприязни, все вели себя достойно, но она сама чувствовала себя неуютно. С утра проскальзывала тенью по двору, отправляясь на работу. С работы возвращалась бегом – и тут же закрывала за собой дверь на замок. Чем в это время был занят мальчик, непонятно: он все время сидел дома и во двор не выходил никогда. Когда мы поселились в нашем доме, дети тут же посвятили меня в то, что он – немец.

Строго говоря, когда-то я уже жила в этом доме: он стал нашим первым пристанищем после гостиницы. Мы снимали комнату на первом этаже. В квартире стоял постоянный крик: все выясняли отношения и предъявляли друг другу претензии – две девочки, мальчик и их усталая мама, хозяйка квартиры. Мальчик порой заходил к нам, спасаясь от этого крика. Это случалось в те часы, когда я оставалась одна. Маму мою соседские дети стеснялись, и их маме удавалось поддерживать в квартире относительную тишину. Мальчик был хулиганистый и считался грозой нашего двора, но у меня он сидел тихо, иногда мы с ним даже играли. И вот однажды мы бегали и он разбил мамину чашку. Мальчик испугался и, грозно посмотрев на меня, сказал: «Смотри, не выдай меня!» И ушел! Когда мама вернулась с работы и спросила, где ее чашка, я, чтобы не выдать мальчика, ответила: «Понятия не имею!» Мама смерила меня долгим взглядом и шлепнула по попе. Я ужасно обиделась! Это было: а) оскорбительно и б) несправедливо!

Я попросила маму дать мне честное слово, что тайна исчезновения чашки останется тайной навсегда, и рассказала правду. Мама тяжело вздохнула и сказала: «Пожалуйста, никогда мне не ври». Мальчик дня три скрывался от моих и маминых глаз, но когда понял, что разборок не будет, царственно взял меня под свое крыло, хотя меня и так никто не обижал – я была еще слишком мала, а маленьких во дворе не обижали. Надо сказать, что понятия о чести, о честном слове не были для тогдашних детей пустым звуком: все зачитывались Гайдаром и хорошо знали и его «Честное слово», и «Школу».

Когда мы получили в этом доме комнату, мебель нам дали в театре – из отыгранных уже спектаклей. Так что она имела причудливую форму: стол и стул из Шекспира, сундук из русской классики... Шкафа не нашлось, поэтому его остов нам сделали театральные плотники, а заодно они смастерили и козлы под панцирную сетку. Матрац, набитый сухими листьями кукурузы, громко шуршал. Мама купила большой отрез самого дешевого ситца в ромашку и все это

разнообразие стилей соединила одной тканью: сделала из него стенки для шкафа, покрывало на сундук, чехлы на стулья. Комнатка получилась настолько обаятельная, веселая и нарядная, что просто загляденье. И с тех пор ромашки – мои любимые цветы.

Чуть позже мама купила еще и маленький приемник – назывался он «Москвич», – и когда мы его впервые включили, заиграла такая божественная музыка, что я замерла и начала плакать. Я потом всегда ее узнавала, эту музыку. Много позже выяснилось, что впечатлил меня отрывок из балета Чайковского «Лебединое озеро», и с тех детских пор, когда я вижу или слышу что-либо, по моему разумению, талантливое (не важно, комедийное или трагическое), я почему-то начинаю плакать: слезы сами непроизвольно катятся по щекам.

Взрослые очень много работали, и дворы заполняли в основном дети и старушки. Город был многонациональный, но это я понимаю только сейчас, вспоминая имена и фамилии моих одноклассниц и друзей. Очевидно, русская Люда Булкина, наша подруга Света из Белоруссии, девочка-гречанка по фамилии Кечеджи, маму моей маленькой подруги, красавицы Зиночки, звали Сарра Абрамовна, так же, как мою подружку Саррочку, с которой мы ходили есть православные куличи белорусской бабушки... Никто из детей не знал, кто какой национальности, и от взрослых никаких разговоров на эту тему не слышали. Исключение составляли мальчик-«немец» и его мама. Я тоже всем своим подругам рассказала по секрету и шепотом, что у нас в доме живет настоящий «немец». Эта национальность внушала ужас.

В Кривом Роге был целый район, где жили греки: высокие, красивые люди с большими носами; и почему-то все они, и взрослые и дети, ходили в ярко-оранжевых высоких галошах, надетых на толстые шерстяные носки. Был и цыганский район. Впрочем, цыгане с их огромным табором селились на пустыре только летом, когда приезжал цирк и на этом же пустыре возводил свои стены. Строили на совесть, потому что в репертуар входили мотогонки по вертикальным стенам! Это было интересно, шумно и окутано тайной: как по стене на большой скорости может ехать мотоцикл? Неужели не упадет? Осенью на пустыре оставались железные винтики и гайки от цирка и куски рваной материи от цыган. Сами они исчезали до следующего года, а их место занимали индюки. Пройти мимо них в школу непросто: завидев людей, они устремлялись навстречу, кулдыкали и трясли своими бородавчатыми носами. После рыжего злого петуха индюки мне тоже не казались дружелюбными.

Горькие минуты

Орлов присутствовал в нашей жизни года четыре из шести прожитых в Кривом Роге. Впрочем, я помню его точно.

Однажды после школы я зашла в гости к однокласснице, и вдруг оказалось, что вот-вот начнется солнечное затмение. Ее брат уже приготовил закопченные стеклышки, чтобы через них рассматривать редкое астрономическое явление. Затмение вызвало такой интерес у детворы! Как так – солнца больше не будет никогда?.. Через волшебные стеклышки было замечательно видно, как солнышко скрылось и как, под наши радостные крики, вышло обратно. Потом мы долго обсуждали увиденное, еще немного поиграли, и я отправилась домой. Я тогда училась во втором классе, мне было восемь лет, и во времени я не очень ориентировалась. Оказалось, что с момента, когда меня ждали дома, прошло слишком много времени, мама переволновалась, не зная, что и думать.

Меня никто и никогда не бил, а тут Орлов, видно, тоже переволновавшись, решил меня проучить: он снял ремень и начал проучать, а я пребывала в замешательстве. Во-первых, я не понимала, за что: затмение оказалось таким восхитительным, что время для меня пролетело за одну минуту, а после школы я и раньше задерживалась, так что мне не казалось, что я пришла поздно. Во-вторых, – кто он такой, этот Орлов, чтобы поднимать на меня руку? И в-третьих, – и в-главных, – я не понимала, что это с мамой? С мамой, которая, едва заведя рядом со мной какого-нибудь мальчика, бежала, раскинув руки, как птица крылья, и кричала: «Веруня! Он тебя не обижает?!» Как могла она позволить этому чужому взрослому дяде меня «обижать»? А мама стояла, отвернувшись... Я во время экзекуции не проронила ни звука, чем Орлова огорошила, а на маму я так сильно обиделась, что припомнила ей это, когда уже была взрослой замужней женщиной.

Я считаю, что бить детей нельзя. Когда у меня самой уже была дочь, она однажды пришла ко мне с дворовой подружкой и ее проблемой. Оказалось, подружка заигралась допоздна и теперь папа будет ее бить за то, что поздно вернулась. Я глядела на это крошечное, дрожащее от страха существо, и у меня ком подкатывал к горлу. К ней домой мы пошли все втроем, и я сказала открывшему двери папе, что играли девочки у нас дома, что у нас остановились часы, так что их дитя не виновно в опоздании. Я наврала в присутствии ребенка,

но другого способа защитить девочку я не видела. Понимаю, что иной раз подзатыльник или шлепок может помочь родителю в воспитании: но бить беззащитного ребенка – это неоправданное варварское насилие. К тому же оно приносит горькие плоды: ребенок вынужден учиться врать, чтобы избежать побоев.

Вообще в моей жизни Орлов не играл большой роли, а в маминей, должно быть, наоборот. Я помню, как они расставались: это был совершенно спокойный разговор двух людей, после которого Орлов ушел, и я бы не поняла, что навсегда, если бы не мамины горькие слезы после его ухода. Я впервые видела, как плачет мама. Я хотела ее утешить, но она меня так резко оттолкнула, что я упала на пол. От неожиданности я ничего не сказала, ушла, легла на свою кровать, отвернулась к стене и стала думать, что больше никогда не встану, умру прямо здесь – тогда мама поймет, какая я была хорошая девочка, но будет поздно.

Уже взрослой я как-то спросила маму, почему они тогда с Орловым расстались. И мама мне сказала, что все эти трудные годы он ни дня не работал: все искал себя, искал места, где бы пригодился его талант, и не находил, и снова искал, а жил при этом за мамин счет. У мамы на руках была я, и она больше не могла тянуть на себе еще и его. Орлов же считал такое положение дел нормальным...

В следующий класс я пошла под фамилией своего папы – Быковой.

О достоинстве

Жил в Кривом Роге актер – любимец публики по фамилии Забалуев: пожилой и «богатый», заслуженный артист. Человек он был хамоватый, ни от кого никаких замечаний не терпел, вел себя так, как удобно ему одному. Когда в театре было особенно трудно и денег артистам не платили, Забалуев придумал для себя забаву: покупал конфеты и, собрав небольшой кружок театральных детей, выкладывал конфеты на всеобщее обозрение и предлагал заработать конфету, прислуживая ему. Мол, кто лучше себя проявит, тот и получит конфету, а может, – и две. Дети старались изо всех сил, и кто-то действительно получал конфеты. После вечернего спектакля Забалуев громко и самодовольно рассказывал об этом всей актерской братии и добавлял, обращаясь к кому-то из

родителей: «Дал твоему сегодня две конфеты, хотя, может, и зря. Цените мою доброту!» Может быть, он в самом деле считал это благотворительностью?

Возможно, в сытое время подобное детское «соревнование» и не казалось бы унижительным, но устраивать его для голодной детворы было по меньшей мере странно. Слух о возможности получить конфету разошелся среди детей быстро, и круг участников расширялся. Мама, услышав про «доброту» Забалуева, попросила меня не принимать приглашение в круг, если оно поступит. Я, конечно же, и не принимала – и, самое главное, понимала, почему этого делать нельзя.

Второй класс я закончила на одни пятерки, и мама мне купила целый кулек грецких орехов. Я их сразу съела: это было пиршество. Примерно тогда же меня пригласили в гости на день рождения к однокласснице. Она жила с мамой, папой и бабушкой – и жили они довольно благополучно. Я увидела праздничный стол с конфетами, печеньем, вареньем, домашними пирожками, орехами и пирожными. Я даже себе представить не могла, что такое бывает – сразу так много всего вкусного. И, главное, все можно съесть! Меня посадили за стол, я была очень возбуждена видом изобилия, и это, наверное, не осталось незамеченным: глаза мои разбегались. Мне сказали: «Пожалуйста, угощайся!» Я взяла пирожок и даже не съела, а мгновенно проглотила его, и добрая бабушка сразу пододвинула ко мне тарелочку с пирожками. Этого было достаточно, чтобы я почувствовала, что неприлично быстро проглотила пирожок. Так что через паузу я вежливо сказала: «Большое спасибо, я сыта и больше ничего не хочу». Помню, как взрослые пытались мне предложить еще что-нибудь, но я больше не притронулась ни к одному блюду. Я думала, что тем, как жадно слопала пирожок, поставила себя и маму в неловкое положение. Вдруг люди подумают, что я голодная? А голодной я действительно никогда не была.

В этом заключалось мое детское понимание собственного достоинства и защита маминого. Ну и, конечно, проявилась неожиданная черта характера в столь юном возрасте. Вообще характер у меня сформировался покладистый, но стойкий: если я чего-то не принимала, то переубедить меня было нельзя. Помню, как мне сшили летний сарафан из льна, такого модного теперь. Сарафан с зеленой полосочкой по подолу. Я отказалась не только носить его, но даже мерить, сказала взрослым, что его сшили из мешка, в котором хранят картошку, и я его никогда не надену. Я не придумывала: действительно видела в углу на кухне в детском саду мешок с картошкой из мешковины, очень похожей по цвету и выделке на несчастный сарафан, только без зеленой полосочки. Предложение

носить нечто подобное меня обидело, а было мне тогда года четыре.

О воровстве

В школьном классе на подоконнике стоял горшочек с землей, в нем выращивали лук. Лук был такой хорошенький, зелененький и каждый день становился больше. Мне он не давал покоя, и однажды после уроков, дождавшись, когда все уйдут, я подошла к горшочку, оторвала самое большое, самое красивое перышко и быстро его съела. Вкус мне не понравился, и я, воровато оглядываясь, вышла из школы. Я отправилась в кинотеатр на встречу с мамой и ее приятельницей: мы все вместе собрались в кино. Какой мы смотрели фильм, совершенно не помню, потому что где-то через 10 минут после начала у меня началась жуткая рвота. Я, едва сдерживая ее, ушла от мамы на задние ряды – но рвота не прекращалась до конца фильма, и я понимала, что это наказание за то, что я украла лучок. Фильм закончился – закончилась, к счастью, и рвота, и я вернулась к маме, ничего не сказав ей про воровство. На следующий день я увидела, что в горшочке проросло еще два перышка и никто на лук внимания не обращает, так что я спасена от публичного позора... Но, что наказание за «грех» неизбежно, я усвоила.

Прошло время, и грех забылся, а на трамвайной остановке около нашего дома летом появилась продавщица с открытым лотком конфет. Конфеты привозили в больших картонных коробках, в каждой из них содержался свой сорт. Вечером непроданные конфеты и продавщицу увозили, на ночь оставался голый лоток, но уже утром и коробки, и продавщица появлялись на прежнем месте. Продавщица зачерпывала конфеты совочком из картонной коробки, высыпала их на правую мисочку весов, а на левую ставила гири разной величины. Потом она ссыпала конфеты в кулек и вручала покупателю, взяв с него плату. Мы, дети, оглядели сам лоток, продавщицу, гири и весы и быстро потеряли ко всему этому интерес: денег-то у нас не было, и мы продолжали бегать по двору, сочинять театральные спектакли и лазить по крышам сараев. Но конфет-то хотелось, и я подумала, что если с продавщицей подружиться, то она может друга и угостить. И я пошла дружить с ней. Целую неделю я стояла рядом с продавщицей, смотрела, как ловко она орудует совочком, рассказывала ей о школе и наших детских играх, слушала ее вопросы и охотно на них отвечала, с завистью смотрела на пробегающих мимо ребят... И чем дольше стояла, тем четче понимала: вряд ли меня угостят, раз уж не угостили до сих пор. И тогда,

дождавшись, когда моя новая подруга отвернется, я схватила из коробки одну конфетку в обертке и быстро убежала в сквер напротив, чтобы эту конфету съесть. От стыда моя ладошка стала мокрая, карамель прилипла к фантику, фантик отодрался с трудом, и липкая конфета совсем не показалась мне вкусной. Всю последующую свою летнюю дворовую жизнь я избегала приближаться к покинутой мной «подруге». Если случалось пробежать мимо, я слышала обращенное ко мне: «Верочка, что же ты меня совсем забросила, я скучаю!» Уши мои начинали гореть: мне казалось, что она, конечно же, знает об украденной конфете, а зовет меня, чтобы объяснить, что воровать нехорошо. Но я это и так знала. Трусливо поджав хвост, понимая, что невежливо не откликаться на ее зов и даже не здороваться, я делала вид, что не слышу ее, и пробегала мимо.

Следующим искушением стал открытый мамин кошелек. В нем лежало множество бумажек – и я подумала, что, если я аккуратно вытащу рубль, мама не заметит. Я и вытащила. Купила мороженое и направилась в заветный сквер напротив, где я раньше тайно съела украденную конфету. Сквер был хорош тем, что помимо скамеек там у большой клумбы располагались выстриженные в виде ваз кустарники: четыре высоких вазы, по одной с каждой стороны. За любую вазу можно было спрятаться и спокойно съесть все, что хочешь, – и я спокойно съела мороженое. Мама действительно ничего не заметила, и открытый кошелек так и лежал на своем месте: мама была свободна в этот день и занималась хозяйством, не выходя из дому. На следующий день я ухитрилась вытащить еще один рубль, снова купила мороженое и съела его за вазой. Но меня мучила совесть: я не могла спокойно есть, так что засунула в рот сразу все мороженое и с трудом его проглотила, не получив никакого удовлетворения. На этот раз дома меня встретил мамин вопрос: «Веруня, ты не брала деньги из кошелька?» Пришлось признаться, что брала; и на вопрос, зачем – честно ответить, что на мороженое. Мама стала плакать. Она меня не ругала, она мне ничего не говорила – это я бубнила, что больше так не буду... Но мама плакать не переставала, и я понимала каким-то шестым чувством, что плачет она не потому, что я взяла деньги, а потому, что даже изредка она не может дать мне денег на сладости, что уже давно живем мы очень бедно и что у нее каждый рубль на счету. Больше я никогда ничего чужого не брала.

Другая школа

Когда я закончила четвертый класс, в школьной образовательной системе произошли серьезные изменения – обучение мальчиков и девочек стало совместным. Мою родную девичью 25-ю школу объединили с мальчишеской, под номером 1. Часть девочек нашего класса осталась на месте, другие перешли в здание 1-й школы. Я оказалась в мальчишеской школе с небольшой горсткой девочек из прежнего класса, с которыми близка не была, и горевала, особенно первое время. Я любила свою школу, любила нашу пионервожатую Жанну Богудлову, которая к тому же была отчаянной театралкой и поклонницей моей мамы. Мы дружили, и даже после переезда в другой город не потеряли связь с Жанной. По сию пору, когда наших мам уже нет с нами, мы изредка переписываемся с дочкой Жанны, Светланой, которая теперь живет в Израиле и недавно выдала замуж свою дочь. Я знала и всем сердцем любила нескольких старшеклассниц, отличавшихся или красотой, или удачным выступлением на общешкольном концерте, или просто удивительной фамилией. Одна краснощекая девятиклассница носила звучную фамилию Москва, я ее запомнила и полюбила. Я была привязана к школе всей душой и разрыв с ней переживала болезненно. Мы оказались в разных школах с подругами, и постепенно наша детская дружба сошла на нет. В новой школе мне было непривычно, неинтересно, можно даже сказать, что ходила я туда как-то автоматически. Мальчики ничем особенно от девочек не отличались – разве что были ошарашены количеством косичек в классе, но за косички не дергали и девочек не обижали.

В новой школе меня выбрали звеньевой, и как-то раз, когда нужно было собрать деньги на какое-то мероприятие, я сознательно поручила это сделать одному неблагополучному мальчику. Накануне его уличили в краже мелочи из карманов в раздевалке. Его дружно осудили всем классом, и он, хулиганистый и ершистый, ходил понурый, глаза в пол. Мое решение назначить его ответственным всех удивило, а его обескуражило. Вслух мне никто не возражал, но мимикой и жестами – глазами, бровями и губами – всячески давали понять, что мальчик не заслуживает такого доверия. Я помнила его проступок, но внутренний голос шептал, что с педагогической точки зрения я поступаю правильно. Мальчик смотрел на меня расширенными глазами, не веря, что не ослышался. Разумеется, он собрал все деньги до копейки, расправил плечи и ходил гордый от оказанного ему доверия. Мне даже показалось, что хулиганить стал меньше.

Я мало что запомнила из единственного года, проведенного в 1-й школе. Помню удивительного учителя математики, на уроках которого класс всегда шумел, занимался своими делами, но его это нисколько не беспокоило: он самозабвенно

писал на доске цифры и корни квадратов, писал неистово, так что мел крошился в его руке, иногда он не слышал прозвеневшего звонка. Он любил цифры великой любовью и презирал людей, которым цифры неинтересны, то есть всех нас. По сути, он и не был учителем, на нас смотрел невидящим взглядом, ему и в голову не могло прийти, что мы просто ничего не понимаем в истории его любовного общения с цифрами.

Я чувствовала себя одинокой: новых друзей не завела, со старыми связь прервалась. Училась я в первую смену, но торопиться после школы было некуда, так что я оставалась в пионерской комнате – делала там уроки, читала, играла сама с собой и только потом шла домой. И однажды, так же поздно вернувшись, я застала дома огорченную маму и молодую пару актеров, ее друзей, приглашенных отметить мой день рождения. Они испекли пирог и ждали меня уже очень давно – я же про свой день рождения совершенно забыла.

После пятого класса я впервые в жизни сдавала экзамены. Это было очень страшно, а на первый экзамен я вообще пошла больная, с температурой, потому что «как же можно пропустить»!

Помню, что в помещении новой школы на период каникул открывали «летнюю школу» – с полным проживанием и питанием. Я один месяц в ней жила, и однажды нам на полдник дали по кусочку торта «Наполеон». Это был любимый мамин торт! Я отпросилась домой на один день и бежала, стараясь доставить в сохранности кусочек «Наполеона», молила Бога, чтобы не помять и застать маму дома. Мама оказалась дома, я вручила торт, и она была счастлива. Я сидела, смотрела, как она его ест, и тоже сияла от счастья. Привычка радовать маму вкусненьким осталась у меня на всю жизнь. Когда у меня у самой уже была дочь и мама к тому времени переехала в Москву, вкусненькое я покупала и маме, и дочке. Дочка, съев свою долю, через какое-то время покушалась на бабушкину и обижалась, что я ей этого не разрешаю. Она спрашивала: «Ну почему нельзя? Я же маленькая!» Я объясняла, что у нее вся жизнь впереди и вкусностей, Бог даст, тоже будет немало, а бабушкина жизнь уже в основном позади, и горечи в ней было очень много, а сладостей не было вовсе.

Помню, как, заканчивая первую четверть шестого класса, я пришла в школу в последний раз попрощаться: мы с мамой покидали Кривой Рог и уезжали в солнечный Узбекистан, в город Коканд. По дороге домой я видела, как, прячась за ларьками, провожал меня смешной, ушастый, рыжий мальчик по имени Вова Тихоход. Он был влюблен в меня. Мое же сердце оставалось совершенно

свободно, и я уезжала легко: за все шесть с небольшим лет жизни в Кривом Роге никто из девочек и мальчиков не смог занять в моем сердце места самого первого друга, Богдана Красноплахтича.

Отрочество

Коканд: другая культура

Итак, приехали мы с мамой в Коканд и снова поселились прямо в театре. На сей раз нам выделили прекрасную светлую комнатку с отдельным входом и даже с небольшим двориком, где стояли старые декорации, выставленные на улицу за ненадобностью. Город Коканд очень теплый – теплый до глубокой осени. А еще это очень интересный город. Он поделен на две части. В современной – театр, старинная школа, бывшая гимназия, парк и красивые административные здания. Старый город представлял собой пространство со множеством одинаковых, очень узких улочек с высокими заборами по обеим сторонам. Заборы из глины бежево-красного цвета – тоже совершенно одинаковые. Отличали их только номера домов и названия, которые иногда писали от руки большими буквами прямо на деревянных дверцах, а иногда прибивали ржавеющие жестяные указатели. Попасть с улочки за дощатую дверцу-калитку и увидеть, что же там скрывается, было совсем непросто. Если ты постучишь, тебе не откроют, надо быть или знакомым, или приглашенным.

За Старым городом располагался большой базар (шук) – шумный, крикливый, разноцветный. По нему сновали ишаки, впряженные в арбу. Арба – это наша телега, только укороченная и на высоких колесах. А ишак – это осел в чистом виде, ничем, кроме названия, от осла не отличается, и характер у него тоже ослиный. Сама была свидетелем, как двое мужчин пытались сдвинуть с места ишака, запряженного в арбу, но тот уперся и никак не хотел двигаться. Ишак перегородил дорогу потоку других ишаков и людей, и каждый, кто обходил или объезжал затор, давал советы, как заставить упрямца повиноваться, но ишак стоял насмерть.

На арбе или просто на тряпке, постеленной прямо на землю, раскладывался разнообразный товар, вперемешку, без всякой системы: ковры, виноград, сушеный сыр, курага, изюм, мука, сахар, обувь, айва, бараны, куры, яйца, зеленая редька, ткани, рис... Тут же в тандыре пекли самые вкусные в мире самсы и лепешки. Тандыр – это огромный, высокий, пузатый глиняный горшок с широким горлом, через которое на горячие стенки горшка и прилепляют тесто. Разогревается горшок на костре. Позже я узнаю, что и плов на большое число гостей готовят тоже в нем.

Новая школа оказалась красивым старинным двухэтажным зданием, чистым и ухоженным. Приняли меня радушно, я без труда влилась в коллектив и даже довольно быстро подружилась с девочкой из класса. Она была очень маленького роста, и звали ее как куколку: Ляляша. Так она назвалась, когда пришла в первый класс, так Ляляшей и осталась и для детей, и для учителей. Как звали ее на самом деле, никто не знал и не интересовался. Учителя ее любили, училась она на пятерки. У нее была какая-то часть узбекской крови, и жила она в Старом городе. Одевалась, как все мы, а вот узбечки в основном ходили в национальных костюмах: платица, длинные узкие штанишки до щиколотки и тюбетейка на косичках. Косичек наплеталось много, волосы у девочек-узбечек длинные, густые и черные. Впрочем, узбекские дети в нашу русскую школу не ходили, а русские не жили в Старом городе. У Ляляши получались лишь две тощих косицы, и она отличалась страстной любовью к национальной кухне. Ляляша и познакомила меня с такой вкуснотой, как самса с рынка, и научила варить шурпу – плов без мяса. Иногда после школы она приглашала меня домой, там мы делали уроки, прежде чем бежать на рынок есть самсу. Так, пользуясь знакомством с Ляляшей, я впервые попала за заветную дверь в глухом глиняном заборе. За дверью-калиткой оказалось обширное дворовое пространство перед маленьким домиком-мазанкой, под ногами – земля, посередине просторного двора – дерево. И больше ничего. Мы сразу проходили в Ляляшину комнату, и потому мне ни разу не удалось увидеть ее родных, только услышать: дом казался оживленным. Комната Ляляши была обставлена вполне по-европейски: кровать, шкаф для одежды, стол, два стула и полка с книгами. Я даже немного разочаровалась: мне казалось, за забором должен возникнуть какой-то необыкновенный мир, раз он так надежно спрятан от посторонних глаз...

Однажды Ляляша пришла в школу в белоснежных кожаных туфельках, носки которых были украшены резным узором. Я не могла отвести глаз от этой удивительной красоты, и Ляляша царственно заявила, что раз я ее подруга, она может отвести меня к их соседу, и тот сошьет мне такие же. Спросив у мамы, могу ли сшить себе туфли, и получив согласие, я оправилась с подругой в

Старый город. Сосед жил неподалеку от Ляляши, был о нашем приходе заранее предупрежден, и, когда мы пришли, дверка-калитка перед нами открылась. Я увидела уже совсем другой мир, не похожий на Ляляшин, в совершенно узбекском стиле: здесь вся жизнь проходила во дворе, пространство перед домом тоже было обширным, но заполненным: посреди – небольшой фонтан, ярко украшенный цветными стеклами и камнями; рядом – высокое дерево, а в его тени – широкий деревянный топчан на четырех крепких ножках, огороженный с трех сторон резными панелями, не то ложе, не то стол, а скорее и то и другое, поместиться на нем могли несколько человек. Топчан был покрыт ярким ковром, и позже я узнала, что на нем действительно и спят, и едят: ночью спят, днем едят – ставят блюдо с едой посередине, все едоки забираются с ногами без обуви на топчан, садятся вокруг, скрестив ноги, и едят. Женщины тоже так садятся: они под платьем всегда носят длинные брючки, и им такая поза привычна и удобна.

Я еще застала, как по улицам и рынку Коканда ходили женщины в парандже. Паранджа у них тяжелая, надевается на голову, как купол, сама она длиной до середины икры, под ней юбка в пол, а спереди паранджа состоит из плотной сетки из ниток, похожих на тонкую леску. Женщина через нее видит хорошо, но разглядеть ее невозможно. Весь этот наряд еще и черного цвета. Цвет меня удивлял: мужчины-узбеки тоже часто ходили в черных халатах, да еще и на вате. В Узбекистане жаркий климат, и мне казалось, что при жаре предпочтительнее белый цвет, но когда я спрашивала, почему они в черном, мне отвечали: потому что жарко.

Сосед Ляляши стелил на крыше домика светлые простыни и сушил на них белые, круглые, величиной со средний пельмень шарики. Это был особого сорта сухой сыр. Вкус его мне тогда совсем не понравился: много позже, уже в Москве, я распробовала этот необычный сыр и оценила его по достоинству.

По двору сновали ребятишки разных возрастов, и за ними приглядывали две женщины, старая и молодая, обе одетые ярко и обе без паранджи.

Увиденное сильно меня впечатлило, захотелось узнать, как же у них все устроено внутри дома. Но в полной мере любопытство удовлетворить не удалось, нас сразу провели в комнату, где пахло кожей и хранились какие-то сапожные принадлежности. Мужчина средних лет, хозяин дома, был польщен, что русская девочка захотела носить его изделие, и вел себя доброжелательно. Он снял мерки и пообещал, что через неделю все будет готово. И действительно:

через неделю я получила красивые, удобные, легкие белые туфельки.

Мои собаки

В Коканде у меня появилась первая в жизни собака – щенок черной масти. Я подобрала его на улице, и мама разрешила его оставить. Назвала я щенка Бобка, был он смешной и милый, в основном мы играли с ним в «собственном» дворе, но однажды Бобка пропал. Я боялась, что он застрял где-нибудь в театральных декорациях, облазила весь театр, но малыш на мои призывы не отзывался. Тогда я стала думать, что он ушел от меня, обидевшись: накануне я отшлепала его за провинность – Бобка стащил с плиты кастрюлю с шурпой, перевернул и, разметав рис по всей комнате, неплохо пообедал. Ворота в нашем дворе не доходили до земли, и мама считала, что Бобка или сам вылез на улицу, или кто-то его приманил и, может быть, забрал себе. Я так горевала о пропаже и так корила себя, что отшлепала Бобку, что мама принесла мне другого щенка, тоже увидев его где-то на дороге. Это была девочка – пушистая, бежевого окраса с черными подпалинами. Назвали мы ее Найдой и, конечно, тоже очень любили, но и с ней мне пришлось расстаться, когда театр в Коканде расформировали и нам пришлось переезжать в Фергану. В отчаянии я искала для собаки нового хозяина: взять с собой мы ее не могли, сами не знали, где придется жить. Но и бросить собаку на произвол судьбы не могли тоже, а в Узбекистане не принято было держать собак – ни дома, ни во дворах. Нашу Найдку никто не хотел брать, но в конце концов повезло: здание театра передали Дому культуры, и пришел туда работать сторожем какой-то старичок. Я его подстерегла у входа и, особо ни на что не надеясь, спросила, не возьмет ли он у меня щенка. А старичок вдруг сказал: «Возьму! Сторожить-то в основном ночью надо. Мне собака пригодится». С одной стороны, я успокоилась: собака окажется в хороших руках. Но с другой стороны – как расстаться с любовью? Расставание было слезным. Я целовала и обливала слезами ее черный нос, а она облизывала мое мокрое лицо.

В Фергане я очень скучала по Найде. Когда через год появилась возможность, я поехала на два дня в Коканд, чтобы ее увидеть, и, оказавшись у Дома культуры, не узнала свою любимицу: Найда вымахала в громадную собаку – помесь овчарки с дворняжкой. Но печаль в том, что и Найда меня не узнала, и это было ужасно обидно – тем более что я много читала об удивительной верности собак. Я была уверена, что собаки помнят своего первого хозяина, и представляла нашу встречу совсем по-другому. Я представляла, что, едва завидев меня,

услышав мой голос, Найда бросится, виляя хвостом, оближет мое лицо и расскажет на своем собачьем языке, как она скучала, как долго меня ждала. Но Найда проявила ко мне оскорбительное равнодушие. Она позволила себя погладить, а потом зевнула и легла у ног хозяина – даже не шевельнув хвостиком.

Нешуточные страсти

В Коканде я постепенно взрослела, наблюдая за жизнью и ее неожиданными поворотами. Случались на моих глазах истории, которые не просто удивляли, а, можно сказать, потрясали.

В нашем театре работала немолодая пара актеров, была у них взрослая дочь, очень спокойные, милые, уравновешенные люди. И вдруг жена и мать, вроде бы вполне благоразумная женщина, влюбляется в молодого водителя театрального автобуса. Да как! До потери разума! Скандал в благородном семействе! Муж в отчаянии умоляет ее опомниться, дочь плачет, театр... замер. Водитель жениться не собирается: она ему в матери годится, но роман продолжает. Муж и дочь по очереди ходят на поклон к водителю и умоляют оставить в покое жену и маму, тот лишь посмеивается. Между тем главная участница скандала официально разводится с мужем, снимает себе отдельное жилье на свою небольшую зарплату и по-прежнему глаз не сводит с возлюбленного. Он же через какое-то время начинает тяготиться шумным романом, муж согласен принять изменницу обратно... Но она живет как во сне, не видит реального положения вещей, не нарадуется на своего избранника, а избранник наглеет, обращается с ней все хуже и хуже. Когда дело дошло до рукоприкладства, театр вздрогнул в бессильном желании разрешить эту ситуацию и предпринял все, что мог: водителя уволили, но и это не помогло, полный драматизма роман продолжался. А через какое-то время влюбленная актриса, ничего и никому не сказав, исчезла из города. Просто тихо уехала. Покинутый и совершенно измотанный муж слег в больницу, дочь осталась с отцом...

Следующая любовная история – скорее трагикомичная, но тоже запоминающаяся. В театре гримерным цехом заведовала очень худая, совершенно седая, беззубая женщина с вечной сигаретой во рту, Зоя Константиновна. Бедная, как церковная мышь, круглые сутки носила она

выцветший халат и стоптанные тапки. Было ей лет шестьдесят с небольшим, и семья ее состояла из взрослой дочери около сорока, трех разновозрастных внуков и ненавистного зятя. В театре работала только Зоя, зять устроился где-то в сфере обслуживания, а дочь Лиза не работала вовсе – занималась детьми. В доме постоянно стояли крик и плач, и Зоя своим прокуренным голосом умоляла дать ей покоя. Часто она приходила к нам, чтобы посидеть в тишине. Зоя очень подружилась с мамой, вечно жаловалась ей на жизнь и время от времени задавала риторический вопрос: «Ирочка, за что?» Лиза внешне была очень похожа на свою мать, но характер у нее был скандальный, ничего делать она не хотела и конфликтовала и с матерью, и с мужем, и с детьми, даже малыми.

Зоя рассказала нам, что судьба ее давно свернула не в ту сторону. Она окончила гимназию здесь, в Коканде, прекрасно говорила по-французски, и у нее случилась необыкновенная романтическая любовь, которая живет в ее душе до сих пор, и только она и держит Зою на этой земле.

Они с Михаилом, так звали Зоиного избранника, были одноклассниками восемнадцати лет, пылали страстью, вынашивали серьезные планы, но вмешался в их судьбу злой рок: Мишины родители совершенно неожиданно решили эмигрировать из Коканда прямо во Францию, у них там обнаружили родственников. Миша плакал и ехать отказывался, Зоя плакала и говорила Мише, что без него умрет... Но, несмотря на яростное сопротивление сына, Мишины родители и сами уехали, и увезли с собой Зоино счастье. Какое-то время они с Мишей переписывались, но постепенно переписка прекратилась, окончательно разбив ей сердце. Зоя вышла замуж, родила дочь Лизу, мужа не любила, продолжала любить Мишу. С мужем она разошлась, дочка похожа на нее только внешне, а характер, как у отца – «Ирочка, за что?»

Однажды Зоя принесла нам старинную фотографию, где они с Мишей вдвоем. С фотографии смотрели на нас прелестный молодой человек и очень хорошенькая белозубая девушка, правда, признать в ней Зою было сложно. Глаза их лучились счастьем и любовью. Мы с мамой кивали, удивлялись, восхищались и сочувствовали. Я была обязательным участником разговора и главным сочувствующим: в моей жизни вопросы любви начинали выходить на передний план. Я верила Зое беспрекословно и, разглядывая ее морщинистую шею и беззубый рот, думала, что все-таки великая любовь существует, и как трагически несправедливо, что они с Мишей не поженились. Мама считала, что кое-где Зоя подвирает, особенно в той части, когда говорит, что Мишель – теперь он Мишель – до сих пор любит только ее. Я же верила Зое безоговорочно.

Изредка, по праздникам, они шлют друг другу открытки, и Зоя знает, что он женат: ну и что? Она тоже была замужем. Он между тем сделал неплохую карьеру, стал ученым, у него дом под Парижем, но всю жизнь он любил и любит только ее – Зою. Я спорила с мамой и говорила, что Зое уже за шестьдесят: ей незачем врать! И была уверена, что только великая любовь дает ей силы выжить в этом бедламе.

И вдруг однажды к нам прибегает трясущаяся Зоя с открыткой в руках. Там написано черным по белому, что Мишель через месяц будет в Москве на какой-то научной конференции, а после планирует приехать в Коканд, где был так счастлив, и хочет повидаться в Зоей! Ага! Значит, все правда! Зоя тряслась сама и в панике потрясала над собою открыткой: где его принимать? В чем? Как?!

Историю необыкновенной Зоиной любви знал весь театр, и у всех она спрашивала совета. Набрав советов – и денег в долг, – Зоя развела бурную деятельность. Месяц – это совсем короткий срок, справедливо считала Зоя. За это время она хотела сделать верхнюю и нижнюю вставные челюсти, сшить несколько костюмов и блузок, купить туфли на каблуках, пару-тройку красивых ночных рубашек, нижнее белье и новые простынки с пододеяльниками. Зоя договорилась с кем-то из коллег, что на время приезда Мишеля они съедут к родственникам и предоставят квартиру Зое, будто эта квартира ее. И в самом деле: не в ее же крикливом жилище принимать такого гостя!.. Обо всем договорившись и все рассчитав, Зоя отослала другу телеграмму, что ждет его, что живет она теперь одна и будет рада его принять, но переехала буквально только что и не знает, как работает почта на новом месте, так что на всякий случай телеграмму о дате прибытия следует слать на адрес дочери.

Дальше произошло следующее: конференция в Москве закончилась на три дня раньше, и Мишель решил не терять время зря. Он приехал в Коканд без телеграммы, поселился в гостинице и пришел к Зоиной дочери, чтобы узнать нужный адрес. Позвонил в дверь, за которой слышался подозрительный крик. Ему открыла Лиза, продолжавшая орать на детей, сидевших у двери на горшках. На неуверенный вопрос гостя: «Зоя – ты?..» – Лиза гаркнула: «Мама!» И скрылась... А мама вышла в прихожую в своем линялом халате, стоптанных тапках и без зубов: она успела сделать и верхние, и нижние, но только привыкала к ним и на ночь, естественно, снимала... «Ирочка, за что?!»

Зоя прибежала к нам, рассказала о случившемся казусе и сообщила о своих последующих действиях. Она уже была при зубах, которые ее не особенно

красили и сильно затрудняли речь, в новом костюме и блузке, в туфлях на каблуках и с купленной бутылкой вина в руках. Выяснилось, что она не собирается сдаваться: она пригласила возлюбленного на свидание в «свою новую квартиру». Кокетливо, как ей казалось, улыбаясь страшным оскалом новых зубов, Зоя говорила: «Кто знает? Все может быть! Я предложу ему переехать из отеля ко мне!»

Через день Зоя, в знакомом халате и тапках, без зубов, снова пришла к нам и поведала, что возлюбленный переезжать к ней из отеля категорически отказался (к тому же он совсем не пьет), что они мило повспоминали свое прошлое, посмотрели Зоины фотографии и сегодня утром он уехал, хотя мог бы побыть еще целый день. Зоя горестно восклицала: «Ирочка, за что?» Но все-таки человеком она была от природы веселым, а главное – остроумным. Шок от лихорадочной подготовки к свиданию, а потом и от самого свидания миновал, и Зоя оправилась от потрясения. Громко смеясь, она в лицах показывала нам и орущих детей на горшках, и Мишелево неуверенное «Зоя – ты?..», и свою собственную выходную арию в халате и без зубов. Конечно, за громким смехом еще скрывалась горечь и остались Зое на память об этой встрече немалые долги, а в нашу с мамой жизнь навсегда вошло выражение «Ирочка, за что?», которое мы использовали в любых казусных ситуациях.

Первая любовь

Летом, как всегда, я отправилась в лагерь – и первый раз в жизни влюбилась. В лагере был горнист Витя: моего возраста, очень красивый смуглый мальчик с прекрасной фигурой и большим музыкальным талантом. Он покорило мое сердце, а я покорила его. В чем выражалась наша любовь? В обменах взглядами во время зарядки и утренней линейки, а вечерами иногда – в танцах друг с другом. Танцевали мы не каждый раз, а именно иногда, чтобы никто нашей любви не заметил. Еще мы демонстрировали свои чувства во время игры в почту. Происходило это тоже на танцах. Клочки бумаги метили порядковым номером, было их столько, сколько танцующих, бумажки складывались в панамку, а потом мы все тянули бумажку и прикрепляли ее к одежде на видном месте: на груди или на рукаве. После объявлялся танец, и, хотя уже темнело и разглядеть цифру оказывалось непросто, у всех заинтересованных лиц всегда все получалось. Записки писали карандашом, как и цифры. Содержание было разное: шутка, розыгрыш, а иногда и признание в любви! Главное правило игры – все записки

должны быть без подписей. Иногда хитрили и все-таки ставили в конце записки свой номер почты, но признания в любви не метили никогда. Очень уж было страшно обеим сторонам обнаружить себя. Но за те два часа, что длились танцы, мы ухитрились узнать почерк, все проанализировать и, руководствуясь одним нам ведомым доказательством, танцевать с избранником с чувством истинного счастья. Танцевали тогда очень целомудренно, на почтительном расстоянии: рука в руке, рука девочки на плече у мальчика, рука мальчика на талии у девочки. Никаких сальностей, никаких бранных слов и тем более никаких «обнимашек»: все очень строго, в полном молчании – только внутри все дрожит, сердце замирает, и порой вы едва-едва смеете поднять друг на друга глаза...

Новые, неведомые чувства полностью захватили меня, и смена пролетела как один миг. Но я оставалась и на вторую смену, и Витя-горнист – тоже, чему я втайне очень радовалась. Еще на вторую смену должна была приехать недавно появившаяся у меня подруга Светлана, племянница одной из маминых коллег, милая, интеллигентная девочка с длинной русой косой и большими серыми глазами. Жила она в Красноярске, и родители отправили ее на лето к тете в теплый, солнечный Узбекистан. Тетя же, узнав, что я в лагере, подумала, что нам вдвоем будет веселее, чем Светлане одной со взрослыми.

Прежде чем я уехала в лагерь, за месяц знакомства я успела полюбить Светлану. Она была старше меня на год, а год разницы в подростковом возрасте – немало, и мне было с ней интересно общаться. Теперь я ждала ее с нетерпением и сразу же, как только она приехала, поделилась своим секретом и издали показала свою тайную любовь. Она мой выбор оценила, а я, как старожил, посвятила ее в тонкости нашей лагерной жизни.

Неожиданно у меня разболелось ухо, и лагерный врач велел каждое утро приходить в медпункт капать капли, а днем носить, не снимая, повязку на оба уха вокруг головы. Повязка завязывалась так, что бантик ее торчал на макушке и напоминал ушки какого-то зверька. Конечно, это меня не красило, но на первые в новую смену танцы я все-таки пошла, хоть и смущалась. Я познакомила подругу с правилами и тайнами почты, и игра началась. Новая смена играла в почту вдохновенно, но записок со знакомым почерком я на этот раз не получила, да и на танец меня никто ни разу не пригласил. Вообще никто. На следующее утро ни на зарядке, ни на линейке моя любовь в мою сторону не смотрела. Как назло, ухо не проходило, но на следующие танцы я решила повязку снять, в глубине души надеясь, что все несчастья от нее. Светлана, как старший товарищ, горячо отговаривала меня, потому что вечерами ветрено. «Но он же не

написал мне ни одного письма и не посмотрел в мою сторону ни разу! – горестно возражала я. – И это все из-за дурацкой повязки, потому что, конечно, я в ней «некрасивая»! Словом, повязку я сняла и пришла на танцы «красивая». Я получила много писем, но со знакомым почерком – ни одного. Я много танцевала, и мой любимый – тоже, но не со мной.

Ночью я рыдала на плече у подруги, а утром получила нагоняй от врача – уху стало хуже. Я надела ненавистную повязку и не пошла в тот вечер на танцы. Светлана моя пошла одна, а когда возвратилась, сказала, что, похоже, мой избранник решил переключить свою любовь на нее. Перебрав почту, которую она получила на танцах, мы нашли знакомый почерк, и ее догадка подтвердилась. Он писал ей то же, что писал в первую смену мне, и теми же самыми словами!

Этого нельзя было пережить. Я заплакала навзрыд и рыдала всю ночь. Светлане он совсем не нравился, и как себя вел, ей не нравилось тоже. Она, совестливая и правильная девочка, очень мне сочувствовала, чуть не плакала вместе со мной, говорила: «Забери его себе, мне он не нужен!» Легко сказать – «забери». А как? Тем более что утром, и на зарядке, и на линейке, я в его сторону больше не смотрела и вообще делала вид, что ничего не произошло. Гордость моя была задета сильно.

Я перестала ходить на танцы, еще крепче привязалась к Светлане, видя, как она искренне переживает за меня и возмущена вероломством моего любимого. Но хотела я только одного: чтобы у меня перестали болеть уши и скорее закончилась смена. Я ходила на зарядку, на линейку, на завтраки, обеды и ужины, но я все делала автоматически, словно впала в анабиоз, и еще долго заживляла душевную рану.

Смена закончилась, мы со Светланой вернулись домой, условившись никому не говорить ни слова о моем любовном фиаско. Так у меня появилась первая тайна от мамы – и сохранилась она на всю жизнь: при всей моей любви к маме, мои личные переживания я всегда держала от нее в секрете.

Одиночество

Театр в Коканде решили расформировать. Часть актеров переводили в Фергану, но только малую часть. Ферганский драматический театр считался на порядок выше, там сложился успешно действующий коллектив, и в Коканд приехала комиссия посмотреть спектакли и отобрать достойных актеров. Отбирали придирчиво. Маму и еще трех-четырех артистов выбрали, а судьба остальных театральных работников осталась в их собственных руках.

Мама была хорошей актрисой. Ее на сцене я помню отлично – даже в те годы, когда я была еще совсем маленькой. Мама держала меня подальше от театра, справедливо считая, что детям за кулисами болтаться незачем: но в качестве зрителя в зал мне приходило разрешалось. Я помню, как она была хороша и задорна в спектакле «С любовью не шутят», как худа и измождена, играя узницу немецкого лагеря в какой-то пьесе про войну. Помню, как зал вместе со мной ахнул, когда немец выбил кружку из рук изможденной мамы. Помню ее сгорбленную спину, исчезающую в темноте.

А еще мама отлично рисовала. Все куколки, нарисованные мне в детстве, были очень хороши собой, а платица к ним – восхитительны. Мама прекрасно гримировалась и могла нарисовать на своем лице и роковую красавицу, и глубокую старуху, а в жизни никогда не пользовалась косметикой – красила только губы.

Маму отобрали в Ферганский театр. Ехать нужно было в середине сезона, обустроившись там, посмотреть спектакли, участвовать в них по мере необходимости и начинать работать в новых. Меня пришлось на время оставить в Коканде, чтобы я закончила четверть. Просто так оставить ребенка мама не могла, так что договорилась с коллегой-актрисой, которую в Фергану не взяли, что две недели до окончания четверти я поживу у нее. Актрису я совсем не знала, она была немолода, накануне похоронила мужа, и весь театр его провожал в последний путь, и зал прощания, и гроб с покойным убрали елочными лапами: дело было в декабре. С тех пор не люблю запаха свежей елки и дома держу искусственную. Актриса с радостью согласилась приглядеть за мной: у нее никого не осталось, и живой человек в доме в это тяжелое время представлялся спасением. Да и мама мне сказала, что это по-человечески правильно: я должна поддержать женщину в ее горе. Я, конечно, согласилась, но было мне не по себе.

Муж той актрисы оказался вторым в моей жизни умершим человеком, которого я знала до смерти. Толстый, веселый, с необычным отчеством – Павел

Мартьянович. И если друга Даню в гробу я совсем не боялась, то второго покойного боялась очень. Он лежал такой строгий и белый, наверное, его так заgrimировали, и я испытывала острое, парализующее чувство страха. Признаться маме было стыдно, я все-таки училась в седьмом классе – уже большая.

Переехав на две недели в квартиру его вдовы, я все время видела его вещи и вспоминала его белое лицо в гробу. Я боялась, что он и сам может вдруг откуда-то появиться, как тот волк из моего детства.

Особенно страшно становилось вечерами, когда я оставалась в квартире одна. Куда вечером ходила пожилая актриса, я не знаю. Я зажигала весь свет, какой был в жилище, но это не спасало.

Актриса переживала смерть мужа очень тяжело: они прожили вместе долгую жизнь. Она все время молчала, но ее губы шевелились и что-то беззвучно шептали. Она смотрела сквозь меня и все время перебирала его вещи. Иногда она о чем-то спрашивала, но сразу же уходила в свой невеселый мир, не дождавшись ответа. Я тоже молчала: я не хотела ее беспокоить и как ее поддержать – тоже не знала.

Я неприхотлива в еде и, привыкшая к столовским обедам, ела всегда без капризов. Не ела я только гречневую кашу: мне она казалась горькой. Но именно гречневую кашу, сварив, а потом поджарив на сковородке, предлагала мне эта несчастная женщина все две недели. То, что я практически ничего не ем, она не замечала – заметила моя мама, когда я предстала пред ее светлые очи: отощала я прилично. Но в этой ситуации сказать, что я гречневую кашу не люблю, было совершенно невозможно.

И еще это был первый в моей жизни Новый год без мамы. Я очень по ней скучала. У актрисы стоял телефон, и мама позвонила, чтобы нас поздравить. На вопрос, как я там, я бодро ответила, что у нас все хорошо, а хотелось плакать и кричать, что мне страшно и голодно.

Фергана

Но наконец мои мытарства закончились, и я поехала к маме!

Фергана! Большой и прекрасный город в центре Ферганской долины, утопающий в садах и парках. Когда я увидела Фергану, мне стало понятно, что покинутый нами Коканд – это почти деревня. Театр стоял на площади в самом центре города, перед ним располагался прекрасный памятник генералу Скобелеву, который прославился в этих краях исключительной храбростью, сравнимой с храбростью самого Суворова, и получил должность военного губернатора Ферганской области.

В помещении театра работали две труппы: русская и узбекская, три дня одна, три другая, один день – выходной. Директором русской труппы был отец прекрасного актера Саши Абдулова, а его мама служила заведующей гримерным цехом. Сам Саша тогда был малышом лет пяти, и мы его в свои дворовые игры не брали, но у него были два брата, и средний, Роберт, как раз годился нам в товарищи.

Когда Саша Абдулов вырос, закончил институт и стоял на пороге блестящей карьеры – дело было в середине 70-х, – он пришел в наш театр Пушкина к своему сокурснику и увидел меня. Саша спросил, помню ли я его, и я честно ответила, что нет. И, кажется, этим его обидела: он-то меня помнил хорошо, я уже была большая, а мне трудно было признать в красивом, высоком молодом человеке того сопливого малыша. И только когда Саша напомнил мне о своем среднем брате, я припомнила и его...

Разместили всех актеров в большом актерском доме, тоже поделенном на две части: одна половина для узбекской труппы, другая – для русской. Поразительным оказалось то, что в русских актерских семьях было по одному ребенку, максимум – два, а у актеров-узбеков по пять-шесть ребятишек. Одна соседка спросила меня: «Вас мама сколько принесла?» – и я не могла ответить, потому что совершенно не понимала вопроса. Долго пришлось выяснять, кого это – вас и куда принесла. Когда я поняла, что речь шла о том, скольких детей мама родила, я так смеялась, что никак не могла остановиться. У нас такой вопрос мог относиться только к хозяину потомства кошки или собаки. Я понимала, что не все соседи хорошо говорят по-русски, но при виде этой соседки меня неизменно разбирал смех. Выяснилось, что их мама «принесла» девять человек, в то время как моя мама только меня одну. Думаю, что ей тоже было смешно и непонятно: как так – «одну»?

Зимы в Фергане теплые, но иногда и снежок выпадает. Зимой почти все русские дети болели: у кого насморк, у кого уши, у кого горло. Узбекские не болели почти никогда. Они были самостоятельны с очень раннего возраста, теплую одежду не носили. Во дворе всеобщей любимицей была трехлетняя девочка неопиcуемой красоты, звали ее Малахат. Она не признавала обуви, ходила босиком круглый год и все время находила на земле что-нибудь съестное. При этом у Малахат никакого намека на простуду или мучения с желудком не наблюдалось.

У русской женщины-помрежа и ее двух детей жила собака – огромная немецкая овчарка по кличке Джерри. Весь русский детский двор обожал ее – и повисал на ней с объятиями и поцелуями, как только она выходила на прогулку. Собака была добрейшая и всех нас терпела. Узбекские дети смотрели на ласки с собакой с недоумением и никогда к ней не приближались.

Когда на узбекской стороне случился большой семейный праздник по поводу обрезания одному из мальчишек, русские дети застыли в ужасе. Во дворе готовился сабантуй: рылись ямы для костров под тандыры. Мальчишка в страхе сбежал, спрятался, и родственники назначили большое денежное вознаграждение тому, кто найдет и приведет мальчишку. Мы догадывались, где он может скрываться, но молчали, в надежде, что минует его чаша сия. Нет, не миновала: мальчонку нашел кто-то из взрослых, каким-то образом уговорил вернуться домой, и праздник состоялся.

Узбекская сторона предпочитала, так же как и в Коканде, жизнь во дворе: на их стороне стояли такие же широкие топчаны. Они никогда не пустовали: там обедали, принимали гостей, пили чай и ночью спали. Даже когда во дворе сыграли узбекскую свадьбу, молодых положили спать под открытым небом, правда, под пологом из прозрачной кисеи. Русские дети, проходя мимо, заглядывали внутрь – и удивлялись, как безмятежно и крепко молодожены спят. Во-первых, по нашему мнению, они должны были все время целоваться, а не спать, а во-вторых, – мы вообще не понимали, как можно спать во дворе большого и густонаселенного дома, когда все время кто-то ходит вокруг.

На русской стороне двора стояли небольшие сарайчики на каждую семью. У нас с мамой там хранились керогаз, а еще небольшой бидон с керосином, воронка, корыто, бак для белья, два табурета и стиральная доска. Я уже подросла и вовсю помогала маме по хозяйству. На мне был керосин, и, если он кончался, надо было идти за ним в керосиновую лавку. На мне же лежала стирка – очень

трудоемкая работа. Надо было нарезать хозяйственное мыло на мелкие куски, положить его в бак, бак поставить на зажженный керогаз, налить воды, положить в бак полотенца, белье, в основном постельное, и потом час кипятить, помешивая содержимое палкой. Потом часть белья достать из бака палкой и положить в корыто. Туда же налить из бака мыльного кипятка, разбавить холодной водой из колонки и на стиральной доске все перестирать. Наконец, нужно все не раз прополоскать, руками отжать и повесить сушиться на веревку. Уходила на это половина дня. Через некоторое время появился стиральный порошок «Лотос», и мыло можно было перестать строгать, но времени это экономило немного.

В Фергане очень плохая вода, и у русских не получалось как следует промыть волосы. Косы у меня были до пояса, и с ними много мороки, но даже и мамины короткие не промывались. Шампуней тогда еще не продавали, узбечки мыли голову кислым молоком, и волосы у них выглядели прекрасно, но нам этот способ не подходил: как волосы ни полощи, а кисловатый запах остается. Однажды мама сказала: а давай «Лотосом» попробуем голову помыть? Риск был большой: вдруг все волосы вылезут? Но мы так устали ходить с непромытой головой, что рискнули. Эффект оказался потрясающим: голова задышала, волосы стали легкими! Но радоваться мы боялись, даже спать легли с опаской: вдруг проснемся лысые, а волосы на подушке отдельно лежат? Утром радостно дергали себя: ура! на месте! И поделились своим случайным «ноу-хау» с остальным русским миром нашего двора, и все нам были очень благодарны.

Школа, в которую я пришла в середине года, мне очень понравилась. Большая, уютная, светлая, ребята – начитанные, педагоги – доброжелательные. Там я проучилась полтора года: половину седьмого и восьмой классы. В этой школе у меня завелась подруга Женя. С ней мы любили ходить в чудесный парк рядом с театром, весело летать вверх-вниз на лодках-качелях – аттракционы были бесплатными.

Там же, в Фергане, я впервые вышла на сцену – всего лишь школьную, но все же на сцену. Я играла жену в Чеховском «Юбилее» на школьном вечере. В это же время я впервые заработала собственные деньги: летом, на каникулах, учеников начиная с седьмого класса посылали собирать хлопок. Это очень тяжелый труд, норма выработки была высокой, и почти никто ее выполнить не мог: ни мальчики, ни девочки. Солнце палит нещадно, хлопковые коробочки колючие, а вата – тяжелая. Питались мы в основном серыми лепешками и чаем. Серые лепешки не так вкусны, как белые, но мы не горевали. Заработав на сборе

хлопка небольшие деньги, я, с разрешения мамы, купила себе веселого ситца, и мама сшила мне летнее платье, а оставшиеся деньги я гордо отдала маме.

Я взрослею

В сентябре вдруг выяснилось, что все вытянулись и повзрослели.

В меня влюбился мальчик-кореец по фамилии Ким. Он все время подкладывал мне в портфель открытки с любовными стихами: иногда открытки были покупные, а иногда самодельные. Я не знала, как на это реагировать, и решила не реагировать никак. Ким страдал, и я это видела, но все равно не знала, что с этим делать.

Зимой, переболев свинкой, я пришла в класс с перевязанным шерстяным платочком горлом. Учительница спросила, чем я болела, и я сообщила, что свинкой. На мои слова учительница заметила: такая милая и обаятельная девушка – и вдруг свинкой. Я приосанилась: впервые меня назвали не девочкой, а девушкой, и главное – милой и обаятельной. Услышать комплименты в нашей семье не представлялось возможным.

Когда я была еще маленькая, мы с мамой ездили куда-то на гастроли, и во дворе домика, где нас поселили, хозяйева держали большую собаку, очень добрую и послушную. Я решила с ней поиграть в коня и попыталась ее оседлать. Собака не возражала и стала возить меня на спине. Но я не удержалась: собака выскользнула из-под меня и пошла дальше, а я упала и сильно ударилась копчиком о камень. Я так сильно ушиблась, что врачи напугали маму, будто у меня может вырасти горб. Чтобы этого не случилось, я целый месяц спала на досках: меня укладывали спать на деревянном полу на простынке, и это было мучительно. Весь театр, зная эту историю, сочувствовал маме. Однажды, когда мучения наконец закончились, один актер поинтересовался моим здоровьем. Я радостно ответила, что все уже хорошо, и актер тихонько шепнул маме: «Как Верочке идет улыбка!»

Первый комплимент в свой адрес я расслышала и запомнила. Жизнь пошла своим чередом, но как только рядом появлялся кто-то из знакомых, я начинала сиять как медный таз, растягивая рот в улыбке. Мама даже поначалу решила,

что это у меня нервный тик, а когда сообразила, в чем дело, быстро пресекла нелепые мимические упражнения. Мама была остроумным человеком, всегда точно подмечала забавное и делала замечания в своем неповторимом стиле. Особенно ей удавались шутливые клички, которыми она умела припечатать. Но и у меня с юмором все в порядке с ранних лет: так что мне не хотелось выглядеть смешной!

В Фергане мама вышла замуж. Ее новым мужем стал Юрий Георгиевич Новиков, хороший актер, вдовец. Его первая жена, тоже актриса, умерла после долгой болезни, а через год после ее смерти мама с Юрой (я его называла так) поженились. Юрий Георгиевич происходил из актерской династии, его отец Георгий Новиков, прославленный провинциальный актер, дарований сына признавать не хотел, и это совершенно сломило молодого Юрия, он к себе тоже стал относиться пренебрежительно, и совершенно напрасно – актером он был блестящим. Когда, спустя много лет, мой муж упомянул имя «Юрий Новиков» в разговоре с Марленом Хуциевым, тот даже подпрыгнул от восторга и стал вспоминать впечатления юности: «Боже мой! Мы бегали в тбилисский ТЮЗ, где работал в то время Товстоногов, чтобы увидеть, как гениально Новиков играет Карла Моора в шиллеровских «Разбойниках»! Бегали по многу раз!»

Я тоже понимала, что мой отчим – прекрасный актер. Я видела его в комедийной роли в «Обыкновенном чуде», в трагической роли Любима Торцова в пьесе Островского «Бедность не порок»... Однако я считала, что моей королевишне-маме он совсем не пара. Тем более что человеком он был пьющим.

Но мама влюбилась – я понимала это, и я смирилась. Мама влюбилась настолько, что как-то раз 20 февраля попросила меня завтра, 21-го, убрать квартиру, все вымыть, привести в надлежащий вид: ведь у Юры 22 февраля день рождения. Я ответила, закусив губу, что, конечно, все обязательно сделаю. Но не сдержалась и добавила: «Хотя вообще-то у меня у самой завтра день рождения». Мама ахнула! Увидев ее испуг, я даже пожалела, что напомнила о своем дне рождения. Я все понимала и, конечно, не стала меньше ее любить, даже после такого промаха, но я ревновала, ужасно ревновала. Мне исполнилось 15 лет, но я по-прежнему оставалась ребенком. Дети развиваются по-разному, я – ребенок позднего развития. Раньше мама была только моя, а теперь... Я проплакала всю ночь, однако утром взяла себя в руки. Да, я была ребенком, но ребенком мудрым.

Позже я полюбила Юру всем сердцем: за то, как он любит маму, как пытается побороть свое пристрастие к алкоголю и как трудно ему это дается. Но они с

мамой вместе выиграли этот нелегкий бой и счастливо прожили все четырнадцать лет, которые им были отпущены до смерти Юры. Мама пережила его на семнадцать лет.

Юра был добрым человеком, помогал детям его покойной жены от первого брака, очень любил меня, строптивую, и души не чаял в маме. Когда она заболела и долго лежала после больницы дома, мучаясь болями в сердце, он баловал ее тортиками, да так, что встала она на два размера больше, чем ложилась. Мама всегда была худенькой и представить не могла, что может так поправиться, а тортики любила.

Умер Юра в Москве, не успев насладиться своим дедовством. Моей дочери Юле было тогда два года. Когда Юра приезжал в Москву, будучи еще здоровым, гордо гулял с коляской и приговаривал, что эта «Кнопка-Пуговка» заняла все его сердце.

Юра сгорел очень быстро. Пока он болел, мама ходила чернее тучи.

Московская больница, где он лежал, была далеко, а мама всегда плохо ориентировалась в пространстве, чем нас с Юрой очень сместила: она всегда сворачивала не в ту сторону даже на давно знакомой улице. Но в больницу к Юре мама каждый день добиралась несколькими видами транспорта, ни разу не заблудившись. Когда врачам стало понятно, что помочь они ничем не смогут, что Юра умирает, они решили выписать его домой. Отчим с мамой тогда жили в Брянске, в доме без лифта на третьем этаже. Понимая, что одна мама в Брянске со смертельно больным Юрой не справится, я пошла к лечащему врачу и, объяснив ситуацию, попросила оставить Юру умирать в больнице. Тем более что сам Юра, несмотря на ухудшающееся самочувствие, пока еще в свое выздоровление верил – и мы его веру всячески поддерживали. Я была никто: молодая, никому не известная актриса, и денег у меня не было, но мою просьбу выполнили. Юру оставили в больнице. А когда он умер, нам позволили его, не москвича, похоронить в Москве – и опять без всяких взяток. Вспоминаю все это с огромной благодарностью к человеческой доброте и чистоте той эпохи...

Лёвушка

Но пока мне пятнадцать и я, как всегда, еду на лето в лагерь, правда, в последний раз: в шестнадцать лет в пионерский лагерь уже не возьмут.

Я любила так проводить каникулы и всегда находила в лагере друзей. Так случилось и на сей раз. Перезнакомившись, мы с девочками отправились в поле нарвать цветов, чтобы украсить нашу палату. Цветов в поле росло много, и самых разных, а я очень люблю именно полевые цветы. В поле мы наткнулись на стайку вожатых, которые тоже рвали цветы. Мы еще толком не познакомились ни друг с другом, ни с вожатыми. Все бы ничего, если бы один из вожатых, молодой человек, не стоял в оцепенении, глядя на нас с открытым ртом. Мы как-то смутились, быстро попрощались и вернулись в лагерь. Через какое-то время лагерная жизнь вошла в свою колею, вечерами бывали танцы и, конечно же, почта. Я начала получать письма от разных ребят, но больше всего от одного и того же номера, который не скрываясь просил с ним встретиться, рассказать, чем я интересуюсь в жизни, и вообще о себе. Ни я, ни девочки разыскать этот номер не могли: не было его среди ребят, но однажды все-таки искомый номер обнаружился. Он принадлежал тому самому вожатому, который стоял, оцепенев, пока мы рвали цветы. Вожатые тоже приходили на танцы и играли в почту, но только между собой: мы – «малышня» – никогда и не смотрели на их номера и никогда не писали им записок.

Я испугалась. Внешне это был взрослый молодой человек – высокий, интересный и к тому же вожатый. Потом выяснится, что ему восемнадцать лет, старше он меня на три года, но в пятнадцать лет «три года» – очень много! Мне он казался дядькой, и я совершенно не желала ничего ему рассказывать о себе. Он продолжал атаковать меня записками, чем основательно портил летний отдых. Я, конечно, как воспитанная девочка, отвечала сдержанно, просто чтобы не быть невежливой, но все это было мне в тягость. Вернувшись из лагеря, я рассказала маме о весьма надоедливом вожатом и забыла о нем. Лето еще не кончилось, и мы всей дворовой оравой бегали со двора на улицу и обратно с гиканьем и пиратскими пистолетами: детство из нас еще не ушло. Окна летом у всех открыты, и, если надо ребенка позвать домой, взрослые громко кричали из окон. Вдруг, пробегая улицей, я вижу, что перед моим окном стоит, разговаривая с моей мамой, этот лагерный вожатый. Да, я ему писала, отвечая на расспросы, кто мои родители, сообщала, что мама у меня актриса, работает в театре... Но чтобы вот так нагло разыскать мой адрес, да еще и с мамой разговаривать?! Это уже слишком! Я перестала носиться с ребятами и, спрятавшись, наблюдала и ждала, когда он уйдет, чтобы вернуться домой. Он ушел, я вернулась, и мама мне сказала, что приходил милый молодой человек, который хотел меня повидать. Мама заявила, что он очень вежливый и воспитанный, что я напрасно

о нем так нелестно отзывалась. Мне было все равно, какой он. Год назад я рыдала от неразделенной любви, но Витя-горнист был моим ровесником, а этот взрослый юноша, почти мужчина, представлял собой нечто чуждое и непонятное. Вожатый, однако, проявил настойчивость и приходил под окно еще дважды – беседовал с мамой в надежде повидать меня. Но я упорно не хотела с ним видаться: я не понимала, зачем нам встречаться и о чем говорить. В пиратские игры его же не возьмешь! А взрослые беседы меня совершенно не привлекали. И оба эти раза я подолгу ждала, пока он уйдет из-под окна, чтобы вернуться домой. В последний раз он сказал маме, что больше не придет, потому что его забирают в армию, и он жалеет, что меня не увидел. Он попросил у мамы разрешения писать мне письма. Я пожала плечами и милостиво сказала: пусть пишет.

В итоге наша переписка длилась три года. Я переезжала в другие города: из Ферганы в Барнаул, из Барнаула в Орск... Это ничего не меняло: письма от Льва – так его звали – приходили регулярно. Он оказался очень начитанным молодым человеком, познакомил меня с поэзией Сергея Есенина, прислал его сборник, а до этого часто цитировал в письмах есенинские стихи. Он влюбился в меня сразу, как только увидел тогда на поле с цветами. Я никогда не верила в любовь с первого взгляда, но это был тот самый случай. Он не торопил событий, вел себя умно и по-дружески – и дружбу мою завоевал, а вот сердце – нет. Мы не виделись с ним после лагеря ни разу. Обменивались фотографиями, делились мыслями о происходящем вокруг, впечатлениями о книгах. Писем его от мамы и Юры я не скрывала, рассказывала, о чем мы переписываемся. Юра сказал мне однажды, что Лёвушка, а его так называли в нашем доме, настолько хороший, настолько редкий молодой человек, что я могла бы подумать о нем серьезнее. Юра добавил, что он бы даже рекомендовал мне его в качестве будущего мужа. Я была возмущена и отвечала, что замуж надо выходить по ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ. Но к письмам Лёвушки я привыкла и нашу дружбу ценила. Однажды, измучившись и поняв, что дальше дружбы наши отношения никогда не зайдут, Лёвушка резко перестал писать, и я по его надежной дружбе очень скучала. Три года переписки – большой срок, но сердце мое было совершенно спокойно. Интересно, что день и год рождения Лёвушки абсолютно совпадали с днем и годом рождения моего будущего мужа: 17 сентября 1939 года.

Прощай, школа

Следующая остановка моего отрочества – Барнаул. Я попрощалась со своей ферганской подругой Женей, мы с ней долго переписывались, но со временем переписка прервалась, а у меня появилась близкая подруга, с которой мы общаемся по праздникам до сих пор. Это она заняла в моем сердце место Дани, моего первого друга.

Барнаул – большой, красивый город, больше и мощнее Ферганы по всем показателям. У города два театра: Алтайский драматический и Театр юного зрителя. В последнем служили мои мама и отчим.

В Барнауле я пошла в девятый класс... Вообще обстоятельства складывались так, что мне то и дело приходилось менять школы, но училась я всегда хорошо: учиться я любила и, если требовалось, осваивала материал самостоятельно, догоняя по программе вырвавшихся вперед одноклассников.

В новой школе я подружилась с удивительно интересной девочкой – Лидой. Она была заводилой, блестяще училась, ездила на шахматные турниры в Новосибирск, брала там призы, зимой прекрасно каталась на коньках и меня тоже научила. В теплых краях, на Украине и тем более в Средней Азии, этот вид спорта – экзотика, но коньки у меня были, и назывались они «дутьши» – коньки-канадки, приклепанные к черным ботинкам. Их еще в Кривом Роге подарила мне мама на Новый год. Я мечтала о коньках, и, хотя кататься было негде, мама мне их подарила! Я чувствовала себя совершенно счастливой, тут же надела обновку и пошла во двор к колонке, где на застывшей метровой луже двое мальчишек уже катались на примитивных коньках-снегурках, примотанных веревками к обуви. Произведя на мальчиков сильное впечатление своими дутьшами, я попробовала испытать коньки на так называемом льду, но троим было тесно, и мальчики, из уважения к моим конькам, отошли в сторону, предоставив метровое ледяное пространство в мое распоряжение. Но оказалось, что на льду в коньках еще неудобнее, чем на деревянном полу или железной лестнице, по которой я спустилась, повисая на перилах. На льду коньки разъезжались в разные стороны, висеть было не на чем и не на ком, и я, конечно, упала, а вот встать оказалось проблемой. Мальчики помочь не могли: они и сами едва держались на своих «снегурках». К счастью, проходивший мимо сосед увидел мои мучения и крепкой мужской рукой поставил фигуристку на ноги, а потом и вывел со льда. На этом попытки кататься на коньках временно прекратились.

Благо коньки мне купили на вырост, и я их все-таки освоила в Барнауле. На этих же самых коньках я буду позже кататься с мужем на московском катке.

Совершенно случайно мы потеряем их, съезжая со съемной квартиры, и я очень буду об этом сожалеть: с тех пор на лед так и не встану, потому что коньки из проката меня совсем не вдохновляли.

Моя подруга каталась прекрасно и меня научила кататься вполне сносно, и я была счастлива. Лида обладала разнообразными талантами, и никто не сомневался, что ее ждет блестящее будущее. Но блестящего будущего у Лиды не случилось. Отец ее служил в армии, мама – домохозяйка, еще у Лиды были два брата десяти и трех лет. Много позже она расскажет печальную историю своей семьи. Когда младшему брату было пять лет, он застрелил отца. Семья отдыхала в лесу на пикнике, и отец, отстегнув кобуру с пистолетом, свободно растянулся на траве... Следственные действия, судебные разбирательства длились долгие месяцы, подозрения падали на мать. Потом все-таки доказали, что застрелил малыш. С тех пор на семью сыпалось несчастье за несчастьем. Вскоре умерла мама, потом, едва достигнув совершеннолетия, покончил с собой виновник нечаянного убийства, брат постарше спился... Сама Лида неудачно вышла замуж и после родов начала сильно болеть. Работа ей была неинтересна, и даже новая любовь не принесла счастья. Ее избранник, высокий и красивый здоровяк, моложе ее на десять лет, скоропостижно умер от сердечного приступа. Сейчас Лида одинока, часто болеет; единственная радость – внук ездит на шахматные турниры в Новосибирск и получает призы. Круг замкнулся...

Заканчивая девятый класс, я узнала, что школу переводят на одиннадцатилетнее обучение, и срочно перевелась в другую, где оставалась десятилетка. Лида предпочла учиться в старой, куда ходила с первого класса. Я же, привыкшая к переездам, сменила место учебы легко и десятый класс окончила в школе, где новых друзей уже не появилось. С Лидой же я продолжала дружить крепко.

В девятом классе на уроке физкультуры я получила травму: выполняя упражнение на брусьях, неудачно приземлилась. Пришлось обратиться к врачу: оказалось, у меня трещина в щиколотке. Врач заковала мою ногу в гипс, и, пока длилось лечение, я очень подружилась с этой милой женщиной. Узнав, что я собираюсь поступать в медицинский институт, она разрешила мне приходить в ее хирургический кабинет детской поликлиники и наблюдать за приемом. Это было так увлекательно, все вызывало жгучий интерес! Желание стать врачом, как мой дед, только укреплялось, тем более и мама очень этого хотела. Но однажды в кабинет пришел мальчик, которому нужно было прочистить рану на пальце: она нагноилась до кости. Мальчику сделали анестезию, ему не было

больно, а я, стоявшая у двери в маленькую операционную, услышав звук скальпеля, зачищающего кость, завалилась в обморок. Пришлось посещения хирургического кабинета прекратить, хотя моего порыва стать врачом этот случай не умерил, разве что немного смутил.

Окончив десятый класс, я подала документы в Барнаульский медицинский институт. Училась я в школе хорошо, а потому и экзамены сдавала легко. После химии оставался иностранный язык, и я за него не беспокоилась: в пределах школьной программы английский я знала неплохо. Считая институт почти своим, я решила познакомиться с ним поближе: прошлась по этажам, почитала таблички с названиями кафедр, спустилась во двор, там наткнулась на маленькое здание и сразу поняла, что это морг. Передо мной тут же всплыло строгое, белое лицо покойного Павла Мартыановича, и я быстро зашагала прочь. Я уговаривала себя, что так наверняка бывает со всеми, что я, конечно, привыкну... Но червь сомнений, который после злосчастного обморока лишь слегка шевельнулся, сейчас всю поднял голову.

Театральная бацилла

Однажды (мне было восемь лет, мы жили в Кривом Роге) к маме обратились из театра с неожиданной просьбой: срочно понадобилась девочка для участия во взрослом спектакле. Та, что играла прежде, заболела, и тогда возникла моя кандидатура.

Мама согласилась, меня позвали на репетицию, я пришла, все сразу поняла, все сделала правильно, и взрослые актеры стали мною восторгаться, а я, не привыкшая к похвалам, восприняла комплименты как чудачество: ведь никаких сложностей мне преодолевать не пришлось. Репетиций было две или три, восторги по поводу моей работы нарастали... И тут заболевшая девочка, прознав, что на ее роль берут другую, повела себя как настоящая прима: она мгновенно выздоровела.

Так что я, а дело было летом, спокойно отправилась, как обычно, в пионерский лагерь, а мама – на гастроли. Эта история никак не повлияла на мои жизненные амбиции: попросили помочь – пожалуйста, не понадобилась помощь – тоже хорошо. Очень скоро я обо всем забыла.

...За пару дней до вступительного экзамена по английскому мне случайно попало на глаза объявление: «Алтайский драматический театр приглашает на прослушивание юношей и девушек 17–20 лет для последующего приема на работу во вспомогательный состав театра». Я прочитала объявление и вдруг, совершенно неожиданно, вспомнила в мельчайших подробностях, как восьмилетней девочкой оказалась на театральной сцене, как репетировала, как слышала похвалы, но главное – я вспомнила свое счастливое ощущение умиротворения в таком, оказывается, близком мне мире – мире театра. И строгое, белое лицо покойного Павла Мартыановича вдруг всплыло в моей памяти и сказало мне беззвучно: «Ну вот же!»

Я побежала узнавать, что нужно для прослушивания. Посвятила в свою тайну Юру – и он меня поддержал! На следующий же день меня прослушали и сказали, что я подхожу: все быстро и незатейливо. А экзамен по английскому я сознательно сдала на тройку, чтобы недобрать баллов для поступления.

Меня распирала гордость, я подошла Алтайскому драматическому: мама с Юрой работали в ТЮЗе – театре рангом пониже. Юру гордость распирала не меньше, так что мы вместе спешили поделиться с мамой огромным счастьем, свалившемся на нашу семью.

Выглядело это так:

– Мама, у меня две новости: одна хорошая, другая не очень! С чего начнем?!

Поскольку при этом мы с Юрой светились счастливыми улыбками, мама была несколько обескуражена.

– Ну, давай выкладывай плохую.

– Я недобрала баллов и не поступила в медицинский. Но зато!.. Меня приняли во вспомогательный состав Алтайского драматического театра: я прошла там прослушивание!

Мама внимательно и строго посмотрела на нас и сказала:

– Не знаю, какая новость хуже.

Поскольку в семье никогда и речи не заходило о моем желании стать актрисой, для мамы новость оказалась полной неожиданностью. Мама не хотела, чтобы я становилась актрисой, держала меня подальше от закулисья, я даже не на всех премьерах бывала. Помышляв по городам и весям, она не хотела для дочери такой жизни, поэтому всячески поддерживала мои планы стать врачом. Мама понимала, что актерская удача – вещь капризная и может ускользнуть от любого, даже свято любящего театр, и тогда жизнь актера становится печальна. «Откуда, ну откуда вообще возникла мысль об актерстве?» – возмущенно спрашивала мама. С негодованием она накинулась теперь на Юру: «Ну ладно Вера, она еще мала и глупа, но ты-то, старый дурак, отлично знаешь, что такое вспомогательный состав: это массовка, и только через год ей, возможно, доверят сказать кушать подано!» Юра чесал лысину, но, поскольку сам театрального образования не имел, внутренне с мамой не соглашался: сам вырос с кушать подано до настоящего, глубокого артиста. Мама опять ко мне: «Ты, оказывается, хочешь стать актрисой? Так для этого тоже учиться надо! Пожалуйста: поезжай в Москву и поступай в театральный институт! Если ты талантлива, возьмут с распростертыми объятиями, а если бездарна – нечего делать в театре!»

Много позже, уже состоявшись в профессии, на вопрос журналистов, когда я решила стать актрисой, отвечала, что скорее всего бацилла театра поселилась во мне еще во время тех детских репетиций, когда мама так легкомысленно согласилась помочь коллегам. Долгие годы коварная бацилла никак себя не проявляла, чтобы поразить в одно мгновение, как только я прочла объявление на столбе. И как же я благодарна, что случилось это вовремя! Ведь я могла поступить в медицинский и потеряла бы столько времени! Если бы я не стала актрисой, то была бы самым несчастным человеком не свете, занимаясь не своим делом. Прожив огромную жизнь в театре, я по-прежнему считаю, что лучшей профессии для меня не существует во всем белом свете.

И еще одна удивительная деталь. Впервые я ступила на профессиональную сцену, оказавшись на прослушивании во вспомогательный состав Алтайского драматического театра. Я тогда не знала, что всю жизнь проработаю на сцене театра имени Пушкина, на бывшей сцене Камерного театра Александра Таирова. А таировский театр в годы войны оказался в эвакуации в Барнауле и играл свои спектакли именно здесь, на сцене Алтайского драматического.

Этот знак судьбы прочитать в те годы я, конечно, не могла, но такие совпадения, «судьбы скрещенья» вызывают во мне почтение.

Моя первая работа

Традиция такова, что экзамены в театральные вузы заканчиваются раньше, чем во всех остальных начинаются. Сделано это, чтобы потерпевшие фиаско могли попробовать себя на ином поприще. Таким образом, ехать поступать в этом году было уже поздно, и мама вынесла вердикт: поедешь в следующем – в Москву, а пока что никаких вспомогательных составов, пойдешь работать: такая практика очень пригодится будущей актрисе. На том и порешили.

Я стала трудоустраиваться, но, поскольку мне не исполнилось восемнадцать, на работу меня брать не хотели. По закону я должна была трудиться не больше четырех часов, а это мало кого устраивало. Я поработала дней десять на почте, столько же в аптеке, но везде со мной расставались. Не потому, что я с чем-то не справлялась: я была очень старательной девочкой и все делала исправно, просто мой четырехчасовой график работодателям был не нужен. Зачем же меня брали? – недоумевала я. Возможно, они надеялись, что я не стану следовать закону и сама изъявлю желание работать целый день. Но я, честно отработав четыре часа, уходила с неинтересной работы с чувством выполненного долга.

Наконец я устроилась на Барнаульский меланжевый комбинат – огромное предприятие, где во многих цехах работали мои одноклассники, тоже – по четыре часа. Несовершеннолетнюю молодежь учили, растили, в надежде, что со временем ребята освоятся, полюбят завод и останутся на нем, и правда, многие действительно оставались.

Я попала в очень шумный цех, где на станках вязали полые шнуры разной толщины. Шнуры вязались из нескольких нитей, работницы ходили между рядами и внимательно следили, чтобы нити не спутались, чтобы шли в заданной последовательности. Достигнув полутораметровой длины, шнур обрезался, а на подходе уже следующие. Конвейерная, монотонная, тяжелая работа. Обрезанные шнуры приносили мне на рабочий стол. Толстые шнуры я один за другим накалывала сверху и снизу на острые металлические спицы, а тонкие сверху и снизу нанизывала на большую иглу с толстой ниткой, растягивала гармошкой на метровую ширину и концы нитей привязывала к металлическим тросам. Иглы были тонкие, что-то вроде сапожных, а тросы – толстые, в диаметре 0,75 мм, и тяжелые. Шнуры мне приносили и клали рядом со столом, а

за иглами и тросами я ходила сама. Иглы лежали в цеху, а тросы – на улице, и принести их нужно было не один и не два, а как можно больше, чтобы не шастать туда-сюда и успеть сдать положенную норму. Работать было трудно. Тросы тяжелые, зимой еще и промерзшие, да и спицы, когда их много, нелегкий груз. Специальность моя называлась «сшивалка-накольщица».

Мне было интересно, куда и зачем идут наколотые и сшитые шнуры, и я проследила за их дальнейшей судьбой. Мои шнуры помещались в контейнеры, заливались сверху какой-то жидкостью и ставились в печи. После термообработки мои шнуры оказывались покрыты снаружи и внутри пленочкой цвета какао, становились упругими и легко гнулись. Уже в другом цеху, на другом заводе, в них вставляли металлические провода, толстые и тонкие. Мои шнуры использовались в приемниках, радиоаппаратуре, в огромных вычислительных машинах. Они служили «одеждой», оплеткой для голых проводов, а поскольку проводов повсюду требовалось много, я чувствовала себя не обычным разнорабочим, а очень даже нужной и полезной сотрудницей.

Опоздания на работу исключались: пройти проходную нужно было до гудка, смена начиналась в семь или восемь утра – точно не помню, но зимой – затемно. Влезть в переполненный автобус получалось не всегда: иногда я ехала на подножке, зацепившись одной рукой за поручень. Зимой особенно тяжело: зимы в Барнауле холодные.

От четырехчасового шума я очень уставала и приходила домой полумертвая, но человек привыкает ко всему: мой молодой организм вскоре привык и к шуму, и к холоду, и у меня оставались силы ходить на каток и в кино с моей подругой, обсуждать с ней прочитанные книги и отвечать на регулярно приходящие письма Лёвушки. Я записалась в народный театр при клубе меланжевого комбината и сыграла там в какой-то небольшой пьесе. И, впервые после Вити-горниста, я снова увлеклась молодым человеком: это был мой партнер, высокий и красивый. Правда, я скорее влюбилась в его талант: он очень хорошо играл свою роль. Я подросла сама, и мой партнер по сцене уже не казался мне недостижимо взрослым, как когда-то Лёвушка.

Поразительно, но это был второй человек в моей жизни, у которого день и год рождения в точности совпадали с днем и годом рождения моего будущего мужа: 17 сентября 1939 года. У Господа Бога эта дата была явно заготовлена специально для меня.

Посмотрев фильм «Большой вальс» несколько раз – так он меня поразил и так понравился, – я окончательно поняла, что я не ошибаюсь: я хочу быть актрисой, и это мой путь.

Несмотря на все тяготы работы, маме я ни разу на них не пожаловалась, и она тоже ни разу меня не пожалела, хотя и видела, что поначалу мне было очень и очень тяжело. Приближалось лето, и я готовилась к поездке в Москву – штурмовать театральный институт.

В тот год в Барнаул из Москвы приехал писатель и драматург Марк Андреевич Соболев. Приехал он с пьесой: договариваться с театром о ее постановке и знакомиться с труппой. Он оказался старым знакомым моей мамы, знал ее по работе еще в Котласе. Туда он приезжал с той же целью – и тогда был даже немножко влюблен в маму. Встретились они радостно, как старые друзья, и Марк Андреевич часто бывал у нас с мамой и Юрой в гостях. Они много шутили, веселились, вспоминали молодость. Мама рассказала другу юности о моем внезапно проснувшемся желании стать актрисой и призналась, что решила отправить меня в Москву: пусть, мол, пробует силы в самом лучшем вузе. Марк Андреевич ее решение одобрил, сказал, что сам он далек от этой темы, но сразу дал домашний телефон, чтобы в Москве я позвонила его жене. Он пообещал, что меня примут лучшим образом, пока я осваиваюсь, и добавил, что вскоре и сам вернется в Москву из Барнаула и меня поддержит, направит и в беде не бросит. Мама от этих слов расцвела и успокоилась. Сама я была настроена решительно и ни о чем не тревожилась: у меня был номер телефона приемной комиссии ГИТИСа, и я считала, что этого вполне достаточно. Но номер Марка Андреевича благодарно приняла: мало ли что.

Подошло время ехать в Москву. Самыми ценными вещами в моем багаже были платье, сшитое мамой на выпускной, – голубое, в белый крупный горох и юбкой клеш, и белые босоножки, купленные в последний момент совершенно случайно. Наряд этот мне шел, в нем я собиралась покорять Москву. На вокзале меня провожали мама, Юра, подруга Лида и Марк Андреевич. Я уезжала полная надежд, близкие махали вслед, а подруга Лида с трудом сдерживала слезы. Когда поезд скрылся вдали, Лида начала рыдать так, что взрослые испугались за ее здоровье. Марк Андреевич по приезде в Москву сказал мне, что он никогда в жизни не видел, чтобы так плакали, даже на похоронах. В следующий раз мы увидимся с Лидой через много-много лет...

Вообще, это был не первый мой приезд в столицу. Впервые в Москве (а вернее, в Подмосковье) я оказалась лет в двенадцать. Тогда я приехала в Загорск (ныне Сергиев Посад) по приглашению дяди Димочки – маминого брата с такой же непростой судьбой, как и у всех детей, рано оставшихся без мамы. Он был старшим из троих сирот и взял на себя заботу обо всех, даже об отце. Семилетним он ждал, пока папа придет домой с работы, не ложился спать, чтобы помочь ему раздеться, если тот бывал нетрезв. А это случалось частенько – молодой вдовец поначалу совсем растерялся. Димочка укладывал папу как маленького спать и, только убедившись, что все в доме в порядке, шел спать сам. Ну а когда вырос, устроившись на работу после военного училища, поддерживал сестру, мою маму, всем, чем мог. Необычайно скромный и стеснительный, жил бы он бобылем всю жизнь, если бы не случай. По профессии Димочка был военный инженер, и однажды в служебной командировке в каком-то городке Димочка по настоянию товарища пошел с ним на танцы. Он даже разок станцевал с девушкой по имени Мария и на прощание произнес фразу: «Приезжайте в гости, будем рады вас видеть!» Через месяц Мария стояла у него на пороге с вещами и, сияя улыбкой, заявила, что приехала навсегда. Так дядя Дима оказался женатым.

Обычно все летние месяцы я проводила в пионерском лагере, поскольку мама уезжала на гастроли: а тут меня пригласили в гости к дяде, и мама меня отправила в Загорск. К этому времени у дяди Димы и Мариюшки – так он называл жену – был уже годовалый сын. Так что помощница в моем лице пришлась кстати. Я приехала и с удовольствием помогала Мариюшке по хозяйству и с малышом.

Однажды мы отправились из Загорска в Москву. Я не помню деталей, тем более что ехали мы не на экскурсию, а по делам: поэтому ни Красной площади, ни Мавзолея я не увидела. Но помню, как восхитил меня большой город и его стремительная динамика. Я никогда в больших городах прежде не бывала, разве что в Днепропетровске, но там я помнила только площадь перед кинотеатром, в котором мы жили. А Москва меня покорила, я сразу ее присвоила: этот город мой, подумала я, и я хотела бы в нем жить. И буду, пока еще не вполне осознанно мелькнуло в голове.

Я намаялась ходить со взрослыми по их делам: не помню каким, но точно не магазинным. Мы сели на лавочке в каком-то сквере поесть мороженого, и вдруг услышали визг тормозов и увидели женщину, которая с безумным видом неслась куда-то на каблучках. Взрослые мне объяснили, что ее сбила машина и она в шоке бежит-хромает, не понимая еще, что с ней случилось. Собралась немногочисленная толпа, кто-то вызвал «Скорую», женщину увезли, а мы, немного пришибленные происшествием, отправились обратно в Загорск. Много лет спустя, гуляя с внуком в сквере у нашего дома, я присела на лавочку и поняла, что именно здесь, на этом самом месте, я увидела произошедшую много лет назад автокатастрофу. Я узнала улочку, по которой бежала обезумевшая женщина. На том же самом месте, где я сижу сейчас, сидела я – подросток. Боже мой! Бывают же такие совпадения! Я узнала этот скверик почти через полвека: и по расположению дороги, и по смешному туалету с заросшими мхом ступеньками вниз, который я посетила ребенком. Я мысленно вернулась в то время, с благодарностью вспомнила дядю Диму, который купил мне в подарок красивую косыночку, а много позже приехал в Москву, чтобы меня поддержать: он неправильно понял информацию о смерти якобы моего мужа (на самом деле это мамин муж Юра умер).

Дядя Дима так и не смог жить семейно: без скандала он уехал от своей Мариюшки и сына в Белгородскую область. Там он жил бобылем, работал и посылал им ежемесячно деньги. Редкие письма и поздравления с праздником получала от него и я, а когда письма и поздравления приходили перестали, я поняла, что дяди Димы больше нет на свете. Меня до сих пор мучает мысль, что могила близкого мне человека бесхозна. Мариюшка не знала, где он похоронен, и за давностью врозь прожитых лет и не собиралась узнавать.

И впервые, вот на той лавочке, поразила меня печальная мысль: как же быстро промелькнуло полвека! Столько удивительного в моей жизни произошло, так много событий случилось, а сквер все тот же и даже лавочки на том же месте. Что такое Время и Вечность, я ощутила, когда приехала впервые в Египет. Ночью, при лунном свете, я стояла совсем одна у подножия Сфинкса и понимала, что так же, как я сейчас, на этом же месте стояли и смотрели на него Наполеон и еще прежде – Клеопатра... Это ощущение было пугающим: ощущение себя песчинкой в Вечности.

Впечатления

В следующий раз в Москву я явилась уже 18-летней: приехала поступать в театральный институт. Поезд мой из Барнаула прибыл во второй половине дня. Я счастливо вдохнула в себя воздух большого города, так полюбившегося мне еще в детстве, с удовольствием прислушалась к его особенному многоголосию и, почувствовав себя уже почти москвичкой, начала звонить в приемную комиссию ГИТИСа, но там почему-то никто не снимал трубку. Тогда я набрала номер родных Марка Соболя, и этот звонок тоже остался без ответа. К такому повороту событий готова я не была.

Поразмыслив, я сдала вещи в камеру хранения, но что делать дальше, не знала совсем. По наивности своей и провинциальности я думала, что приемная комиссия работает круглосуточно: люди ведь приезжают в разное время и кто-то обязательно должен их принимать! Кто? Конечно, приемная комиссия!

Еще немного подумав, я решила узнать адрес какого-нибудь театра, в надежде добраться туда и в антракте дозвониться хотя бы по одному из двух известных мне московских номеров. По адресу, который мне дали приветливые москвичи, я приехала к Московскому Художественному театру, легко купила билет в кассе и пошла смотреть спектакль. Меня удивило, что по манере исполнения, по существованию актеров на сцене спектакль ничем не отличался от спектаклей барнаульского ТЮЗа, где служили мои мама и отчим. Ждала-то я, конечно, чего-то феерического: ведь это сама Москва! Спектакль не помню совсем: я была очень обеспокоена тем, что делать после него, поскольку ни единого знакомого в Москве у меня не было. В антракте позвонила снова, но телефоны молчали.

Рядом со мной в партере сидела милая старушка, которая оказалась театралкой: про всех актеров, играющих на сцене, она знала все и с удовольствием посвящала меня в их тайны. Я вежливо слушала, но меня это не занимало совсем. Когда спектакль закончился, я торопливо распрощалась со своей говорливой соседкой, поблагодарила за интересную беседу и побежала звонить по заветным номерам, поскольку становилось поздно и темно, а я все еще на улице в самом прямом смысле. Несколько телефонных будок стояли прямо у входа в театр, там, где сейчас кассы. Заскочив в одну из них, я снова набрала на диске уже выученные наизусть номера. Длинные гудки лишили меня какой-либо надежды найти пристанище. Выйдя из будки, я увидела свою партерную соседку, которая стояла и внимательно меня оглядывала. Заметив, что я расстроена, она начала расспрашивать, что случилось, и я про все свои странные недозвоны рассказала. Выяснилось, что сегодня воскресенье и телефон моих «знакомых» молчит, потому что все москвичи помешаны на дачах и обладатели

известного мне телефонного номера наверняка дышат свежим воздухом. А приемная комиссия вообще может не работать в выходной. На мой вопрос, можно ли в Москве переночевать на вокзале, милая моя собеседница предложила переночевать у нее. Я была очень рада, поскольку вариант с вокзалом возник в моей голове от безысходности.

На метро мы приехали на станцию «Кропоткинская», и в одном из ближайших переулков вошли в небольшой дом, а в доме – в крохотную комнату, где и жила моя фея. Меня напоили чаем с вареньем, поставили раскладушку, постелили белоснежное крахмальное белье и заодно рассказали, что раньше дом принадлежал Нащокину, другу Пушкина, и что сам Пушкин бывал у него в гостях. Я спросила: как же дамы в платьях-кринолинах по моде того времени передвигались в таком крошечном пространстве? Старушка улыбнулась и указала мне на потолок, который был украшен когда-то круглой, а теперь ополовиненной лепниной под люстру. Она объяснила, что и дом перестраивался, и что комната эта была как минимум в два раза больше, судя по лепнине. Кроме того, комнат у Нащокина было много, так что они не были тесно заставлены.

Спала я чудесно, и утром, горячо поблагодарив свою спасительницу, поехала в ГИТИС. Там я получила место в общежитии на знаменитой старой Трифоновке – одноэтажном бараке с множеством комнат по обе стороны узкого коридора. Комнаты были заставлены кроватями с клочковатыми матрацами. В конце длинного коридора имелась комната с умывальниками и ржавыми унитазами. Словом, место не из приятных, но многие годы сюда летом селили абитуриентов театральных вузов, а с началом сентября в барак въезжали уже студенты – и прекрасно себя чувствовали.

Мне Москва представлялась сказкой, я и подумать не могла, что встречу здесь такие развалюхи, но в Москве 60-х было еще очень много старых домов. И тем не менее я испытывала благодарность за то, что могу где-то жить во время поступления, забрала чемодан из камеры хранения вокзала и пришла в положенную мне комнату, куда уже заселились семь девочек-абитуриенток. Первое, что я от них услышала: «У тебя деньги есть?» Как потом выяснилось, приехала я поздно: консультации и прослушивания давно начались, и девочки за это время успели свои деньги потратить. Мои новые соседки справедливо считали, что у вновь прибывшего деньги должны быть и он обязан поделиться с оголодавшими «собратьями». Получив положительный ответ, часть денег у меня экспроприировали «в долг». От «собратьев» же я узнала, что вузов театральных в Москве целых четыре, да еще один кинематографический – ВГИК. Советовали

идти во все: вначале на консультации, потом, если пропустят, показывать подготовленный материал на первом туре, потом на втором и третьем. И если третий ты пройдешь, то общеобразовательные экзамены – чепуха, считай, ты принят. А самое главное – документы надо нести только перед последним, третьим, туром, а до этого достаточно фамилии: так что можно показываться везде, во всех четырех институтах! Целых четыре вуза! Даже пять! Какой простор для дерзаний!

Новая информация оказалась мне очень полезна. Как доехать, где записаться, какой мастер в каком вузе набирает курс – я, глухая провинция, ничего этого не знала. Обогащенная знаниями, я записалась на консультацию на ближайший день в Щепкинское училище при Малом театре. Купив букетик цветов, я отправилась еще раз поблагодарить свою вчерашнюю спасительницу и поделиться с ней новостями. Телефона у нее не было, я поехала на авось и добралась до «Кропоткинской». Поскольку вчера после спектакля было уже темно, ориентировалась я по памяти. Мне казалось, я шла в правильном направлении, но найти приютивший меня дом, к своему горькому сожалению, не смогла. Это теперь я знаю, что переулок называется Гагаринский, дом номер четыре, и что Пушкин не только бывал здесь, но и писал жене об очередной причуде Нащокина построить миниатюрную копию этой квартиры. Стоила забава Нащокину дорого, потому что все в «маленьком домике» соответствовало прототипу и заказывалось у тех же мастеров, что и оригинальная мебель и посуда, только в крошечных размерах. Пушкин описывал рояль в 18 сантиметров высотой, на котором можно было играть. Весь домик помещался на ломберном столике, внутри – множество комнат, а в комнатах – великое множество вещей, даже книги и свечи. Всего этого я еще не знала, а мемориальной доски тогда на доме не было.

Много позже, когда только начиналось коммерческое телевидение, на шестом канале – новом, молодом и креативном – появилась программа Валерия Комиссарова, которая позволяла признаться в любви и поблагодарить человека, с которым не смог или не успел по каким-то причинам объясниться раньше. Я уточнила у телевизионщиков: можно поблагодарить любого человека? Мне ответили: абсолютно! Я отправилась на телевидение и вдохновенно рассказала о доме Нащокина, о моей первой ночи в Москве, о моей очаровательной спасительнице, о своих блужданиях в поисках ее дома, о том, что прошло так много лет и я не уверена, жива ли она, и что я давно уже мама и уже сама актриса, но помню ее доброту и по сию пору очень ей благодарна.

Закончив свою речь, я стала благодарить уже работников студии и лично Валерия Комиссарова за то, что придумали такой формат: можно теперь узнать о прекрасных поступках многих замечательных людей! Но тут я увидела, что вся группа с Валерием во главе смотрят на меня разочарованно. Мне объяснили: «Формат программы рассчитан на признания в любви и благодарности человеку противоположного пола, в вашем случае – мужчине! А если мужчина благодарит или признается в любви, то женщине – причем в любви не только платонической. В этом пикантность программы и надежда создателей на большой к ней интерес!»

Справедливости ради надо сказать, что, когда меня приглашали на программу и в общих чертах описывали формат, что-то невнятное о мужчинах прозвучало. О мужчинах сказали именно невнятно: это были самые первые попытки нашего телевидения «пожелтеть», и продюсеры с ведущими еще пока стеснялись называть вещи своими именами. Но я подумала, что вряд ли мне такое может быть предложено. Фильм «Москва слезам не верит» так популярен, что биографии актеров известны доподлинно. Мне казалось, все осведомлены, что я замужем и кто мой муж. На всякий случай я уточнила: можно говорить о любом человеке? Когда я услышала в ответ: «Абсолютно!» – сомнения по поводу возможной желтизны формата исчезли совершенно, а на смену им пришел восторг по поводу возможностей телевидения. Невнятные формулировки я списала на то, что в передаче говорят об очень широких понятиях: ведь благодарность и любовь бывают разными. Наверное, имелось в виду, что если кто-то хочет поблагодарить мужчину за любовь, которая не закончилась браком, то и это в формате программы возможно...

Надо ли говорить, что мое понимание ситуации было наивным, а программа со мной не попала к зрителям. Отмечу, впрочем, что программа и сама по себе просуществовала недолго: зритель был еще целомудрен и к интимным откровениям звезд не готов.

Таким образом, слова благодарности к моей московской фее остались при мне: но я по-прежнему обращаю их к небесам!

Знакомство со взрослой Москвой

Щепкинское училище: курс набирает Виктор Коршунов и консультацию, на которую я записана, проводит сам. Обычно первые консультации в творческие вузы проводят младшие педагоги или даже студенты старших курсов. Так происходит потому, что люди часто плохо понимают, что они собой представляют. Когда мой муж готовился к съемкам фильма «Розыгрыш», в газете поместили объявление, что требуются молодые люди возраста 16–17 лет, но на пробы выстроилась очередь из самых разных персон, от малолетних детей с мамами до вполне солидных пятидесятилетних мужчин с животиками. Возраст поступающих в творческий вуз тоже ограничен – и все-таки на моей памяти одна дама 28 лет пыталась поступать с нами. На консультациях отсеивают по возрасту, из-за явных физических недостатков, из-за неисправимых дефектов речи или неадекватного поведения. Когда на консультации присутствует сам мастер – большое счастье: он смотрит орлиным взором в самое сердце абитуриенту, видит его насквозь и его возможности тоже. Я не боялась прослушивания: а известие, что на консультации будет сам мастер, меня только ободрило. Я пришла в прекрасном расположении духа, вдохновляясь тем, что великие актрисы Малого театра когда-то находились в этих стенах и брались за ручки этих старинных дверей. Я много читала и о Марии Николаевне Ермоловой, и о Гликерии Николаевне Федотовой.

Нашу пятерку абитуриентов вызвали в аудиторию, светлую и солнечную. За столом сидели педагоги во главе с самим Виктором Коршуновым, полноватым и обаятельным человеком. Я прочитала все, что приготовила: и прозу, и стихи, и басню, и меня ни разу не остановили, как было с двумя ребятами в нашей пятерке, читавшими передо мной. Меня внимательно и доброжелательно выслушали, потом попросили спеть, и я спела, потом попросили поднять юбочку повыше, чтобы посмотреть, не кривые ли у меня ноги, и ноги у меня оказались в порядке. Потом Коршунов подозвал меня поближе и сказал: «Вам, дорогая, не стоит даже приближаться к сцене. Вы никогда не будете актрисой».

Я почему-то сразу оглохла. Буквально. Я вышла из аудитории, толпившиеся ребята, ждущие своей очереди, задавали мне какие-то вопросы, я видела их шевелящиеся губы и не слышала ничего. Я оторопело смотрела на них, пытаюсь осознать: что же только что случилось? Как-то я добралась до общежития, и мои соседки спросили: «Ну как?» Я поняла, что их слышу, и почувствовала, что из моих глаз помимо воли полились очень крупные слезы. Я достала чемодан и начала собирать вещи.

Уж чего-чего, а соплей и слез старожилов общежития на Трифонойской повидали: каждый день в разные комнаты приходили после консультаций и туров убитые горем несостоявшиеся Джульетты и Офелии. Поэтому сострадание тех, кто пока «остался в живых», было искренним, но несколько агрессивным:

– Еще чего, уедет она! Да это только начало! Осталось еще три вуза!

– Некоторые под разными фамилиями по несколько раз в один и тот же институт ходят – и поступают! А некоторые по несколько лет в Москву ездят!

На мое робкое: «Но сам Коршунов!..» – мне в ответ неслось:

– Да кто он такой? Он старый и ничего не понимает! Да у них у всех вкусы разные: разные вузы, разные вкусы, разные требования!

– Правильно! Здесь не подошла, а в другом месте окажешься в самый раз!

Как ни странно, мне это помогло: я выдохнула и решила продолжить попытки.

Поселившись в общежитии, да еще с таким количеством людей в комнате, которые еще и постоянно сменялись, я, всегда жившая под маминым крылом, познакомилась с неизвестными доселе сторонами жизни. Кто-то уже все вузы обошел, не прошел и уезжает, но собирается приехать в следующем году – и уж тогда! Кто-то поссорился с соседками и просится к нам в комнату на место уезжающей, а не пускают, потому что эта кто-то «скандальная дура». Кто-то везде провалился, но не уезжает, а место в общежитии уже не положено, и приходится прятаться от коменданта. Кто-то празднует день рождения, кто-то с горя напился, кто-то хочет выброситься из окна, кто-то лезет в драку, у кого-то что-то украли, кто-то рыдает, потеряв невинность, а «он, оказывается, и не собирался жениться», кто-то приехал не поступать, а просто так – и просится пожить, потому что «у вас весело»...

Весь этот набор еще не оформившихся окончательно человеческих страстей, помноженный на нервозность экзаменов, иногда дремучую невоспитанность, юношеский максимализм и неумение справляться с эмоциями – все это обрушилось на меня. Но с ног не сбило и не закружило в своем вихре.

Я оказалась разумной, и меня совсем не привлекал шанс «напозволить себе всего, чего не разрешали родители». У меня существовала одна-единственная цель – поступить. Все остальное мне было совершенно не интересно.

В общежитии жила еще одна девочка, которая тоже сосредоточилась исключительно на главной цели, она поступала уже второй год подряд. Провалившись в прошлом году, она решила остаться в Москве до следующего набора, а ведь Москва режимный город и в нем без прописки, хотя бы временной, существовать непросто: милиция проверяла чердаки и подвалы, проводила облавы, искала и выдворяла нелегалов. Нужно было обладать очень сильным характером, чтобы остаться и выжить в таких условиях: ведь надо что-то есть, зимой во что-то одеваться, а для этого где-то подрабатывать, что без прописки весьма проблематично. У этой девочки характер был бойцовский! Жила она практически без вещей, поэтому для прослушиваний просила у соседок у кого что было: я одалживала ей юбку. Хотя дружбы среди девчонок не заводилось – все друг другу конкурентки, – но отказать в одежде, если у человека ничего нет, считалось большим грехом и непростительной подлостью. Эта девочка поступила и впоследствии стала очень хорошей артисткой, ведущей актрисой популярного московского театра... Я не собиралась называть ее имени – но сейчас отвлеклась от заметок и в интернете прочла, что она умерла сегодня. Этой девочкой была Зинаида Славина, прекрасная актриса любимовского театра на Таганке, незабываемая звезда спектакля, с которого этот театр начинался, – «Добрый человек из Сезуана». Царствие ей небесное!

Марк Соболев

Вернулся из Барнаула Марк Соболев, нашел меня, пригласил в гости и познакомил со своей женой-красавицей и рыжим мальчуганом-сыном, репортажи которого я теперь иногда смотрю по ТВ. Марк Андреевич казался мне тогда старым человеком – было ему 44 года, а мне всего 18. В том, что он со мной общается, я видела большую любезность с его стороны: он обещал маме меня не бросать...

Марк Андреевич пригласил меня на спектакль по своей пьесе в театр на Малой Бронной. Спектакль мне совсем не понравился, и я не знала, как мне сказать ему об этом, не обидев.

Марк Андреевич встречал меня почти каждый день и расспрашивал, как дела. Однажды, идя вместе по улице, мы встретили Михаила Светлова. Марк Андреевич с ним довольно долго беседовал, попросив меня подождать, и я скромно ждала в сторонке. Потом он сказал мне горделиво, что это был сам Михаил Светлов и что, если я хочу, мы можем пойти к Светлову в гости. Я ответила, что знаю его «Гренаду», но в гости к незнакомому человеку, известному поэту, мне идти неудобно. Марк Андреевич не настаивал. В этот день он показал мне ГУМ, где оказалась длинная очередь за дамскими туфельками. Туфельки были иностранного производства, и я, увидев их, потеряла дар речи: такой красоты я даже представить не могла. Мне они так понравились, что я решила их купить, хотя, учитывая сумму, которую я дала в «долг братьям», с деньгами у меня было не густо. Марк Андреевич ждал меня долго: очередь продвигалась очень медленно. Я чувствовала себя неловко. Может быть, размышляла я, он думает, что я попрошу у него денег взаймы? Но в денежных вопросах я была очень щепетильна. Мама научила меня никогда не брать взаймы, а уж если наступает крайний случай и приходится взять, то отдать нужно точно в срок. Но у меня хватало денег на туфли и мне не нравилось, что Марк Андреевич так долго ждет, и я несколько раз просила его уйти, уверяла, что деньги у меня есть, что все со мной будет в порядке, что я не заблужусь, но он упорно меня ждал. Туфли я купила, Марк Андреевич порадовался обновке вместе со мной и потом пригласил в какую-то московскую компанию, заверив, что там как раз любят и ждут новых и незнакомых творческих людей. Мы пришли туда, где собиралась эта компания: и действительно, все время кто-то приходил, а кто-то уходил... Пили много водки, играли на гитаре и много курили. И только там я поняла, что это Марк Андреевич за мной так ухаживает. Меня это неприятно удивило: он, когда-то влюбленный в мою маму, теперь ухаживает за мной?! Это же предательство моей мамы: он должен был оставаться влюбленным в нее всю оставшуюся жизнь! (Естественно, влюбленным платонически, раз он женат!) Это во-первых. Во-вторых, у него же есть жена! И наконец: он ведь очень стар! Тем временем Марк Андреевич предложил мне выпить, «чтобы расслабиться», и пододвинул ко мне маленький граненый стаканчик сорокаградусного напитка «Горный дубняк». Я была хорошо воспитанной девочкой и ходила с ним везде, куда он меня приглашал, хотя мне не всегда хотелось и не всегда было интересно, но он был, как я считала, влюбленным другом моей мамы и предложил мне телефон своих родных на всякий случай, если я не устроюсь по приезду. Так что я считала себя обязанной быть доброжелательной, вежливой и послушной. Но когда он пододвинул ко мне этот стаканчик, мне сразу вспомнился нянин ухажер с махоркой из моего детства. Увы, говорить взрослым твердое «нет, я этого делать не буду» я еще не научилась, но поняла, что мое детское доверие к этому

человеку и ощущение, что я за ним как за каменной стеной, ошибочно и я должна каким-то образом сама с честью выйти из этой ситуации. При внешней улыбочности и доброжелательности, внутри я была так напряжена, что, будучи совершенно непьющим человеком, под его «до дна, до дна, до дна» опрокинула стаканчик, как будто это лимонад. Затем я поблагодарила присутствующих за прием (никто на это не отреагировал), Марка Андреевича попросила проводить меня до метро, и мы ушли. Я была трезва как стекло и молчала, а Марк Андреевич выглядел слегка ошарашенным.

Как правило, Марк Андреевич назначал время и место встречи, и я послушно приходила: и в этот раз он тоже решил сговориться со мной о встрече через пару дней. Я вежливо ответила: «Да, конечно», и доброжелательно с ним попрощалась, но в день назначенной встречи позвонила с утра к ним домой и, сославшись на что-то, от встречи отказалась. Марк Андреевич еще пару раз находил меня каким-то образом и приглашал снова, но я с тех пор была всегда очень и очень для него занята. Больше мы никогда не виделись, и маме я этой истории не рассказала.

Совет Радомысленского

Тем временем я прошла консультацию и два тура в Щукинском училище и ГИТИСе. На третий меня не пропустили. В запасе оставалась только школа-студия при МХАТе. Я пришла записаться на консультацию, но тут выяснилось, что набор уже закончен. Курс набирал Павел Владимирович Массальский, очень красивый актер, известный своей отрицательной ролью американца-шантажиста в александровском «Цирке». Вежливая секретарша сказала: «Осталось одно место, но сейчас будут слушать девочку, которую и собираются взять. Можно, конечно, попробовать попросить, чтобы послушали и вас...» «Попросите, пожалуйста», – сказала я упавшим голосом. Почему девочку слушали одну и почему согласились послушать меня, осталось загадкой. В комиссии было три человека: сам Павел Владимирович и два неизвестных мне педагога.

Взяли ту девочку, но сообщить мне об этом вышел невысокий, полноватый человек с очень добрыми глазами и ласковым голосом. Им оказался ректор школы-студии Вениамин Захарович Радомысленский – «Папа Веня», как называли его студенты. Папа Веня сказал, что я им очень понравилась, но у меня

мало силенок. Он попросил, чтобы я немного поправилась и приезжала на следующий год сразу на второй тур: не на консультацию, не на первый, а сразу на второй.

Я поблагодарила и, убитая, ушла. Мне было так горько, что я пришла сюда в последнюю очередь: именно здесь мне так понравилось! Больше, чем в других институтах! Все понравилось: и чистота, и тишина, и вежливость секретарши, и доброта ректора, и запах, запах старых театральных костюмов, знакомый мне с детства и такой родной! Я хотела учиться только здесь!

Насчет «силенок» Вениамин Захарович был прав. Деньги, которые у меня взяли в долг, никто отдавать не собирался, да я на это уже не рассчитывала, тем более что иногда девчонки меня чем-то все-таки угощали. Туфли, купленные в ГУМе, тоже подорвали бюджет. Денег оставалось в обрез, питалась я перекусами, и к концу этой творческой гонки устала и порядочно оголодала. Во ВГИК я не пошла и на приглашения вездесущих ассистентов с «Мосфильма», высматривающих среди абитуриентов хорошенькие мордочки и сулящих им сразу и карьеру, и деньги, не клюнула. Я честно написала в телеграмме маме, что не поступила, и принялась ждать, когда мама и отчим за мной заедут по дороге в новый город, где им предстояло теперь работать – Орск.

В общежитии места стало много: абитуриенты разъезжались, а студенты еще не приехали. В конце концов остались только маргинальные личности и я, ожидающая маму. Всех оставшихся собрали в одну комнату, остальные закрыли. Личности меня невзлюбили, потому что я не курила, не пила, с ними держалась вежливо, но на отдалении. Когда приехала мама и вошла к нам в комнату, мои «маргиналки» стали демонстративно курить и громко орать непристойные частушки. Мне было ужасно неудобно перед мамой и отчимом, а мама вдруг строго сказала: «Пойди и вымой шею!» Я послушно пошла и вымыла, хотя не понимала, с какой стати и чем заслужила такой тон. Когда я вернулась, мама сказала: «Пойди вымой с мылом!» На мое: «Я мыла с мылом...» – последовало: «Значит, вымой еще раз!» Я повиновалась. Шея моя была действительно серо-голубой – но не от грязи, а от того, что я сильно похудела. Потом мама это поняла, но в тот момент, когда вошла в сизую от дыма комнату с орущими дурными голосами девчонками и грязными, без белья, матрацами, сердце ее упало. На какое-то мгновение ей показалось, что столица поглотила мою чистую душу. Она не знала, как вернуть ее обратно, и выбрала командный метод. Надо сказать, что и девчонки притихли, вспомнив, видимо, что где-то остались мамы, все еще имеющие право их приструнить.

Потерпев в Москве сокрушительное фиаско, но не потеряв надежды поступить в следующем году, я поехала с мамой и Юрой в Орск.

Первая роль

Орск существовал будто в двух временах сразу: стародавнем, когда был еще крепостью, построенной для защиты от кочевников, и современном, с традиционной советской архитектурой. Среди широких улиц, новых многоэтажек, магазинов, кинотеатров еще попадались старые деревянные домишки, отвоевавшие себе право на жизнь.

Нам предоставили огромную трехкомнатную квартиру в новом кирпичном доме, с телефоном, большой кухней, просторным коридором, отдельными туалетом и ванной комнатой. Мы даже растерялись от такого великолепия: у нас и мебели не хватало, чтобы заполнить свободные пространства. Маме пришлось приложить немало усилий, чтобы квартиру освоить, обжить, сделать теплой и обаятельной, но все равно у нас было пусто. А еще немного смущал непонятно откуда идущий странный неприятный запах. Мама ходила по квартире и принюхивалась, то в одном углу остановится, то в другом, но уловить источник запаха не получалось. Она в который раз мыла до блеска унитаз, не забывая повторять наставление: в интеллигентном доме унитаз должен быть такой чистоты, что из него чай можно пить. Чай пить было можно, извести запах – нет. Юра чувствовал себя великолепно и никакого запаха не замечал, а мы с мамой страдали. Из пяти чувств, дарованных Богом людям, обоняние у нас с мамой занимало первое место. И при всей щекотливости ситуации мы наконец нашли причину, расспросив соседей.

Оказалось, в нашей квартире раньше никто не жил, а находился там кожаный склад. Кожи хранились разной выделки, да и вовсе не выделанных хватало: вот именно они-то «отнюдь не озонировали воздух», а, как портянка старика Ромуальдыча из «Золотого тельца», отравляли весь подъезд. Когда после многочисленных жалоб жильцов склад съехал, люди вздохнули с облегчением, потому что из подъезда запах начал исчезать. Это давало слабую надежду, что рано или поздно он уйдет и из квартиры. И запах действительно исчезал, правда, весьма неохотно.

В труппе театра было много молодежи, к «старикам» – поколению мамы и Юры (маме 43, Юре 44) – относились с большим уважением. На этот раз мама позволила мне войти во вспомогательный состав театра, раз уж все равно решила становиться актрисой. Позже выяснилось, что вспомогательный состав состоял из меня одной. Труппа была маленькая, масштабных спектаклей с массовой не предполагалось в принципе: у театра не хватало для этого производственных мощностей. Да и пьес из жизни «графинь и графинов», как шутила мама, где произносится фраза «кушать подано», тоже в предстоящем сезоне не предвиделось. Чем я могу быть полезна театру в качестве вспомогательного состава – оставалось загадкой.

Пообщавшись в Москве с бывалыми поступающими, я узнала, что к абитуриентам, которые поработали артистами в периферийных театрах, отношение у приемной комиссии предвзятое: в провинции, мол, и вкус оставляет желать лучшего, и вообще мало ли чему тамошние режиссеры научат. Лучше брать в студенты человека чистого – и на чистом поле насаждать «высокое искусство». Так ли обстояли дела на самом деле, я не знала, но на всякий случай в трудовую книжку, где первой записью стояло гордое «сшивалка-накольщица – Барнаульский меланжевый комбинат», я слезно упросила написать не «актриса вспомогательного состава», а «библиотекарь Орского драматического театра».

Тем временем театр приступил к репетициям пьесы Виктора Розова «Неравный бой», и вдруг выяснилось, что главную героиню, девочку, только что окончившую школу, играть некому. Молодые актрисы труппы были 23–27 лет, для роли недавней школьницы – «староваты». Вот тут-то внимание режиссера и обратилось в мою сторону. Присмотревшись ко мне, восемнадцатилетней, режиссер решил рискнуть и предложил попробоваться на главную роль. Я нисколько не испугалась и даже не очень удивилась: юность самонадеянна. Мы сделали репетиционную пробу, режиссера она устроила, и я начала вместе с другими актерами репетировать. В спектакле играли и мои родные.

Действие пьесы происходит в подмосковной деревушке: и как же точно были подобраны грим и костюмы у мамы и Юры! Художников по костюмам в таких небольших театрах не предусматривалось, так что созданием внешнего облика героя актеры занимались сами. У мамы и Юры это получалось блестяще. Я думаю, с той поры и у меня самой появилась привычка начинать работу над ролью с внешнего облика героини: как она одета, как говорит – речевая характеристика тоже очень важна для меня. Не зря существует поговорка: «По одежке встречают, по уму провожают». Речь и одежда при первой встрече дает

представление о человеке, его культуре и вкусе. Первое впечатление может оказаться обманчивым, и когда мы узнаем о человеке больше, мы меняем представление о нем – и уже «проводим по уму». Так же и зритель, увидев героя на сцене, должен составить впечатление по такому же принципу. До сих пор работа с художниками по костюмам, гриму и парикам у меня занимает весьма значительное время: я ищу точные детали и на примерке в пошивочном цеху могу стоять долго, хотя это очень утомительно и физически тяжело. Так происходит не только в тех случаях, когда ищу шикарный костюм, который бы сидел идеально, подчеркивая достоинства блистательной героини. Поиск совершенного образа беззубой и опустившейся бомжихи, которую мне довелось играть, тоже требовал времени, примерок и проб. Казалось бы, что тут сложного: надень что попало, и дело сделано. Однако что попало не подойдет: у этой героини тоже когда-то была устроенная жизнь, и зритель приметы прошлой жизни должен заметить.

А что касается речи, то мои героини говорили и на прекрасном русском языке, и с акцентами, сильными или едва уловимыми: с украинским, американским, польским, еврейским, немецким и даже цыганским.

«Неравный бой» мы выпустили, я сыграла премьеру и играла спектакль весь сезон. Юра сиял: он очень мной гордился, а мама, как всегда, была сдержанна, между тем именно в ее похвалах я нуждалась больше всего на свете. Но похвалы и комплименты в нашей с мамой семье были совсем не приняты. Считалось, если сделал все хорошо – молодец, не о чем говорить, человек и должен все делать хорошо. А вот если что-то не получилось, тогда имеет смысл поговорить на эту тему, постараться все исправить и сделать хорошо. Я тоже очень сдержанна в оценках. Возможно, таким образом в нас с мамой проявлялась малая Родина – Север.

Поскольку «Неравный бой» стал моей первой работой, реакции зрителей я не замечала – была поглощена происходящим на сцене. Но благородство аудитории я оценила в полной мере. На одном из спектаклей случилось ЧП. Мизансцена предполагала, что мой партнер, молодой человек, пятится, отступая к рампе. Эмоционально восклицая, он двигался спиной вперед к самому краю и, не рассчитав, упал в зрительный зал. Мы замерли в оцепенении, а зрители тихо и ловко юношу подняли, осторожно поставили на место и продолжили заинтересованно слушать его, через небольшую паузу завершившего свой страстный монолог. И он, и зрители, как хорошо воспитанные люди, сделали вид, что ничего не случилось.

Я сыграла и еще парочку ролей: уже не главных, но интересных и запоминающихся. Так что театру я пользу принесла, но мне самой это как будто совсем не помогло. При следующем поступлении в институт мой опыт никак на мне не отразился: страх и нервные затраты были такими же, что и в первую попытку, вся самонадеянность улетучилась. Про себя-то я была уверена, что готова, что имею право учиться в самом лучшем месте – школе-студии МХАТ, но огромное уважение к небожителям, сидящим в приемной комиссии, эту юношескую самонадеянность низводило до полного исчезновения.

Не совсем дружба

Молодежь в Орском театре оказалась дружной, доброжелательной, интересующейся искусством. Как-то сами собой организовались наши посиделки с чаем и разговорами. Местом встречи стала комнатуха в старинном деревянном особнячке, жилплощадь в коммуналке принадлежала одному холостому актеру. Встречались мы почти каждый день, спиртного на наших встречах не водилось: по вечерам спектакли, денег у всех в обрез, да и желания выпивать не возникало. Мы больше увлекались спорами о литературе, обменивались впечатлениями о прочитанном, в этой компании я познакомилась, кроме прочего, с поэзией венгерского классика Шандора Петефи и полюбила его лирику. Мы обсуждали новые фильмы, говорили о театре, ну, и, естественно, мы увлекались друг другом.

Я была самой юной, но в сложившийся круг меня приняли как равную. Особенно я подружилась с молодым человеком, который на наших посиделках в основном молчал, – я по сей день отношусь с интересом к мало говорящим людям. Актером юноша был посредственным, внешне тоже не слишком привлекательным, и мне казалось, он себя ужасно стесняется. Мне хотелось его расшевелить, вовлечь в нашу веселую и разношерстную компанию, хотелось, чтобы он был активнее в спорах, хотелось узнать, откуда он родом, кто его родители, что он любит читать, что ему интересно в людях, о чем он мечтает. Я неожиданно влюбилась в него, причем совершенно этого не осознавая.

Мы встречались в общей компании, встречались и наедине. Мне с ним было просто и весело. Никаких попыток зайти дальше дружбы он не предпринимал, и для меня наши отношения развивались естественным путем. Мы чаще стали

встречаться наедине – нам было интересно вдвоем. При мне он перестал так стесняться, и наши привычные посиделки постепенно перекочевали в нашу квартиру, сузившись до двух участников – его и меня. В этот период я практически перестала отвечать на письма Лёвушки.

Мама никогда не разговаривала со мной на сердечные темы, но тут вдруг спросила: «А что у тебя за отношения с Виктором?»

Вторая моя любовь, как и первая, звалась Виктором.

– Хорошие у меня с Виктором отношения... – ответила я, оторопев от неожиданного вопроса.

– Насколько хорошие? – не унималась мама. – Может, ты за него замуж собираешься?

Когда я, еще в Узбекистане, вернулась из лагеря, раненная изменой первого Виктора, маме я ничего о своей трагической любви не рассказала, но страдать не перестала. Мама мои страдания увидела, сразу поняла, чем они вызваны, и решила, что можно их облегчить с помощью юмора, поднявшись над ситуацией и по-доброму посмеявшись вместе – ведь все уже в прошлом! Это было ошибкой.

Мама обладала прекрасным чувством юмора – изящным, тонким, мы с ней часто смеялись над самими собой. Но это был не тот случай. Юмора я не оценила, а, как улитка, спряталась в раковине и в последующие годы никогда ни о чем меня тревожащем маме не рассказывала. Более того: я научилась искусно прятать чувства, причем не только от нее, но и от всего окружающего мира. С любыми проблемами я научилась справляться сама.

Я растерялась, услышав мамин вопрос о замужестве, посчитала его непростительным вмешательством в мою личную жизнь и гордо, с вызовом ответила:

«Да, мне очень с Виктором хорошо, комфортно и весело, и он умный, и очень хороший человек, и он из бедной семьи, и у него нет денег, и он живет, едва сводя концы с концами, и я выйду за него замуж!»

Если учесть, что никакого предложения от Виктора не поступало, он вообще никак не проявлял любовь в обычном понимании: не обнимал меня, не целовал, не говорил даже чего-нибудь вроде «ты мне нравишься» или «я тебя люблю», то мой монолог выглядел несколько странным даже для самой себя! Но женская интуиция не могла меня обмануть: я всем существом чуяла зарождение «большой любви». Ни о каком замужестве я пока, конечно, не думала, да и положение моего избранника было не из завидных: в театре не востребован, ни денег, ни жилья, ни перспектив. А тут – любовь с дочерью ведущих актеров? Он не мог ни одного лишнего движения сделать, ни одного лишнего слова сказать. Да и что, собственно, он мог мне предложить?

Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, Виктор ждал знаков любви, слов признания от меня. Но, возможно, эта его бездейственная влюбленность просто свидетельствовала о трусости. Или, быть может, я сама себе придумала эту любовь?

В народе говорят: «любящее сердце – вещун», и мне мое сердце «вещало», что он тоже влюблен! Правда, «выдавали» его любовь только трагически глядящие на меня глаза при расставании и безграничная радость при встрече.

По моим книжным понятиям, именно мужчина должен был делать предложение руки и сердца. И произносить признания в любви тоже должен сначала мужчина, а не наоборот. Но я тогда об этом даже не думала. Я вообще не предполагала, что наше с Виктором общение может казаться кому-то выходящим за рамки дружбы.

Я была абсолютным книжным романтиком и пребывала в уверенности, что можно, обнявшись с милым в шалаше, умереть от старости в один день, пронеся любовь через все испытания...

И снова мама!

– А как же поступление? Отменяется? Профессии учиться уже не надо? Будете теперь вместе по глухой провинции ездить? – не унималась она.

От маминых слов я превратилась в соляной столб! Боже мой! В эйфории влюбленности я забыла обо всем на свете: о школе-студии, о Москве, о том, что я вообще-то собираюсь поступать... Все последнее время я думала только о

Викторе. Каждый день я ждала нашей встречи, а заканчивая день – ждала следующей. Я действительно не думала о замужестве, не рассчитывала услышать от него слова любви и даже не задавалась вопросом, почему он их не произносит. Говорили его глаза, его улыбка: мне этого было достаточно! Я счастливо проживала каждый день!

Мой спонтанно высказанный монолог о замужестве был вызван неожиданностью маминого вопроса. На самом деле я так не думала – я вообще ни о чем не думала. Любовь отключила эту функцию мозга.

Мама поймала меня за хвост вовремя. Это было трудно, потому что я виртуозно научилась скрывать внутренний мир от окружающих, достигла в этом деле совершенства. Понять, что у меня на душе, при внешней улыбчивой доброжелательности, не могла даже мама, отлично меня знавшая.

Буквально вслед за разговором с мамой случилось еще одно важное событие. Молодая актриса Инна, пришедшая к нам в гости на чай, заглянула ко мне в комнату и непринужденно спросила:

– А что у тебя с Виктором?

– Ничего, – ответила я, снова удивляясь, что кто-то что-то заметил.

Кроме того, меня озадачило, что она так запросто задает весьма интимный вопрос и, видимо, надеется получить откровенный ответ.

Ситуация усугублялась тем, что в предыдущем сезоне Инна работала в Барнаульском ТЮЗе вместе с моими родными. Увидев нас в Орске, она кинулась с новостями, сообщила, что разошлась с мужем, тоже актером, и вот теперь она здесь. На правах прежнего знакомства Инна «дружила» с моими родными, считая и меня своим другом. Видимо, поэтому и задавала «запросто» любые вопросы. Но я не считала ее другом: я была молодым, но уже очень закрытым человеком и особенно в отношении своей личной жизни.

– Так он тебе не нужен? – столь же запросто поинтересовалась она, будто речь шла о предмете интерьера, словно вопросы такого рода вполне естественны.

– Нет, – ответила я, стараясь держаться независимо и взросло.

– Так я могу забрать его себе?

– Конечно, – ответила я легко.

Мой мозг с трудом попытался постичь смысл слов «забрать себе». Не справившись с этой задачей, он все-таки послал мне сигнал: если я сейчас скажу, что Виктор мне нужен и дорог, то Инна с легкостью «заберет себе» кого-нибудь другого. Но я не понимала, почему я вообще должна говорить с посторонним человеком на такие темы, да еще в формате торга. У нас с мозгом даже мелькнула мысль: может быть, это родные таким неуклюжим способом решили нас с Виктором разлучить?

Но буквально через пару дней я поняла, что это не так. Юра, святой и наивный человек, любящий меня безмерно, пришел домой с репетиции и гневно сказал нам с мамой:

– Девочки, вы только подумайте! Я случайно увидел, как наш Виктор целуется с Инной на лестничной площадке. Оказывается, он второй день подряд провожает ее до дому после спектакля. Какое хамство: он же с нашей Веруней дружит!

На моем лице не дрогнул ни один мускул. Только сердце ухнуло куда-то вниз, как в самолете, когда он попадает в воздушную яму. И сразу заработал мозг. Теперь уж он понял смысл слов «заберу себе». Этого осмысления никто не заметил, только я одна слышала скрежет мыслей, наползающих друг на друга. Наконец мозг четко сказал мне, что я больше никогда не должна видаться с Виктором, иначе умру. И я с ним согласилась...

Я умею расставаться с людьми. Умею расставаться резко и без объяснений, когда человек понимает, почему я так поступаю. Умею и так, что человек не сразу поймет, что я с ним рассталась. Но во всех случаях расставание болезненно для меня самой, потому что это я принимаю решение. Я расстаюсь, теряя человека, прежде мне дорогого и близкого, потому что иначе существовать невозможно. И невозможность эта имеет веские причины. Но этому я научилась не сразу, со временем. А тогда... Виктор стал моим первым и очень тяжелым уроком в постижении искусства расставания. Я расставалась с ним медленно, по крупницам вынимая его из своего сердца: не потому, что

боялась ранить его, а потому, что, оказалось, по-другому не могу я. Оказалось, я не могу без него дышать. Это как внезапная смерть. Я точно знала, что он для меня умер, но мчащийся поезд сразу остановить не представлялось возможным...

Виктор позвонил, и я «легко» отменила нашу встречу. Внешне это выглядело легко: я не хотела, чтобы он что-то заподозрил. С момента Юриного рассказа прошло четыре дня, и все это время я находилась в ступоре. Три из них я ничего не ела, совсем ничего: у меня на нервной почве сжались челюсти и не открывался рот – да я и не хотела никакой еды. Речь мне тоже давалась с трудом, но я и не говорила почти. Только услышав по телефону его голос, я смогла проглотить полчашки кофе. И так продолжалось две недели. Я похудела на семь килограммов, потому что есть не могла, кофе получалось выпить только после его звонка, а звонил он один раз в день. Я ему сказала, что болею, что увидаться мы пока не можем, но, чтобы он звонил, что я рада его слышать. И это было правдой: теперь только его голос связывал меня с миром, только после его звонка я ненадолго оживала, а до этого сидела омертвевшая. На одном месте. Перед телефоном. В ожидании. Все эти ежедневные телефонные разговоры я длила не для того, чтобы сохранить отношения: они умерли, я точно это знала. Я просто пыталась выжить под упавшей на меня бетонной плитой.

Мне казалось, что мои ответы на его звонки выглядят естественно, тем более что эти две недели я не была нужна в театре: у нас в помещении проходил конкурс каких-то самодеятельных коллективов. «Неравный бой» мы в этом сезоне уже отыграли, и остался у меня по занятости какой-то незначительный эпизод в спектакле, в котором Виктор занят не был, он вообще мало играл в Орске: «не прошел» как это называется у актеров.

Мама и Юра видели, что со мной беда, но вели себя идеально: ничего не спрашивали и даже не предлагали «хоть чуть-чуть поесть».

За эти две недели, потеряв семь килограммов живого веса, я немного пришла в себя: чуть окрепла душой, у меня разжались челюсти и очнулся мозг. И даже понемногу заработал снова. Я была поражена открытием, что любовные чары способны отнять рассудок до степени почти полного его исчезновения!

Я стала активно готовиться к поступлению, искать себе материал и репетировать его вслух, когда моих не было дома. Я даже отправила письмо Вениамину Захаровичу Радомысленскому, написав на конверте: Москва, Школа-

студия при МХАТ, – почтового адреса я не знала. В письме было сказано, что я та самая девочка, которая пришла в последний день на экзамен, что на следующий год меня пригласили сразу на второй тур, что я тщательно готовлюсь и скоро приеду.

Опустив письмо в почтовый ящик, я почувствовала, что теперь между мной и Москвой протянута нить, и я этой нитью к Москве привязана, и порваться она может только в том случае, если в Москве я провалюсь.

И мне стало легче. Я решила, что в Москве, конечно же, меня ждут и что, конечно же, мое будущее там! Я начала потихоньку выздоравливать. Звонки Виктора становились все реже, а в театре он ни разу не попался мне на глаза. Почему – не знаю, возможно, потому, что был мало занят в спектаклях, возможно, из-за влюбленности в Инну, возможно, думал, что это я коварно его бросила, а возможно – чувствовал свою вину.

Прошло время, я заканчивала уже первый курс и как-то зашла в очередной раз на Центральный телеграф за корреспонденцией (родные присылали туда письма «до востребования»), и мне выдали, кроме прочего, письмо от Виктора. Он писал, что нам совершенно необходимо встретиться, что он приехал на две недели в Москву и просит позвонить ему по телефону, который и прилагает.

Прошел год с того момента, как я почти умерла от любви, а сейчас я читала письмо от совершенно чужого мне человека. Я очень повзрослела за этот год: жила в общежитии самостоятельно, без взрослых. Занималась интереснейшим делом – мы проводили в стенах института почти все время. Год был таким насыщенным, что история с Виктором, казалось, произошла очень и очень давно, почти в детстве, и так же давно закончилась. Я выжила каким-то чудом, выздоровела после болезни – тогда же, еще в детстве.

Я не позвонила ему. Мне совершенно не о чем было с ним говорить. Прочитала его письмо и ничего в моей душе не шевельнулось.

Школа-студия

Вторая попытка

Перед тем как поехать в Москву во второй раз, я отправилась с мамой на гастроли в Магнитогорск. Здание театра, где проходили гастроли, стояло у подножия высоких холмов, и незадолго до отъезда в столицу, пока мама играла спектакль, я ушла побродить по этим холмам. Я взобралась на вершину и оказалась один на один с природой и величественной тишиной. И вдруг я стала истово просить и небеса, и холмы, и траву, их покрывающую, о помощи в поступлении. Я стояла на коленях, потом легла, обняла землю и целовала травинки. Это была молитва – стихийная, языческая.

Не так давно я снова попала в Магнитогорск уже с нашим театром Пушкина. Мы работали в другом помещении, но я разыскала то, где гастролировала мама. Я его сразу узнала, узнала и возвышенности неподалеку. Все немного изменилось за шестьдесят лет моего отсутствия: появились новые дома, а сами холмы показались ниже – они будто осели и немного расплылись, как постаревший человек. Я так была рада встрече с этими холмами: к ним я, собственно, и ехала! Узнав, что предстоят гастроли в Магнитогорске, я поняла, что все в жизни не случайно, что я снова должна увидеть эти холмы и поблагодарить их. Я опять поднялась на вершину, поздоровалась и поблагодарила и небо, и землю, и траву за все, что с их помощью произошло в моей жизни. Я не встала на колени и не легла на землю только потому, что внизу ждала машина с водителем и моей молодой провожатой. Меня было хорошо видно на вершине, и я подумала, что, учитывая мой возраст, они могут испугаться, если я вдруг окажусь на земле. А так хотелось вновь обнять ее!

Итак, я в Москве, опять в общежитии на Трифоновке – лучше оно за прошедший год не стало: те же матрацы, те же ржавые удобства в конце коридора, те же заполошные абитуриенты. И хотя я была уже опытной, знающей все приемы и правила, бегать по разным вузам не захотела: я нацелилась только на школу-студию МХАТ.

На этот раз в столицу я приехала пораньше, первым делом отправилась узнать, на месте ли ректор, он оказался на месте, и меня к нему вежливо провели. Вениамин Захарович встретил ласково и на вопрос, помнит ли о прошлогодней нашей встрече, к моему облегчению, сказал, что и меня помнит, и свое обещание тоже.

Конкурс был, как всегда, огромный, ребята поступали сильные, и выбрать лучших в традиционном порядке комиссия не смогла. Нам пришлось проходить два вторых тура, два третьих, да еще коллоквиум. Набирал курс Василий Петрович Марков – лучший исполнитель роли Дзержинского в истории советского кино. Вторым педагогом был Владимир Николаевич Богомолов, а художественным руководителем курса считался Василий Осипович Топорков.

Экзамены проходили нервно: нас запускали в большую аудиторию по пять человек, но слушали по-разному: кто-то мог прочесть всю программу, кого-то прерывали раньше, кого-то спрашивали, нет ли еще какого-нибудь дополнительного материала, а кому-то советовали репертуар сменить и прийти еще раз. Словом, экзаменовали нас серьезно. То, что могут попросить прочесть что-нибудь еще, в дополнение к подготовленному, для меня стало новостью. И еще педагоги сообщили: желательно, чтобы в пятерках поступающих не было одинакового репертуара.

Я приготовила рассказ Паустовского «Корзина с еловыми шишками», басню Крылова «Волк и ягненок» и монолог Лауренсии из пьесы Лопе де Вега «Овечий источник». Монолог хорош тем, что позволяет проявить темперамент, а еще он написан сложным стихом и даже просто правильное его прочтение свидетельствует о хорошем владении языком и логикой. Но это я знаю сейчас, когда сама стала педагогом и слушаю поступающих. А тогда я очень испугалась: вдруг этого окажется недостаточно? Весь материал я готовила одна, никого о помощи не просила, а маме даже не показала подготовленное: ее я стеснялась больше всего. На подготовку я потратила много сил, и сейчас быстро учить еще что-нибудь «в дополнение» мне казалось бессмысленным. Я решила: будь что будет.

Перед тем как нашу пятерку вызвали, выяснилось, что у меня и еще одной девочки в репертуаре монолог Лауренсии. Я честно призналась, что больше у меня ничего нет, а девочка сказала, что поступает в третий раз и у нее репертуар обширный: так что она знает, чем заменить Лауренсию. Я очень ее благодарила.

Почему она все-таки начала свое выступление именно с этого монолога, мне неизвестно. Но когда вышла читать я и растерянно сказала, что у меня тоже, увы, монолог Лауренсии, мне разрешили его прочесть.

Читая свой монолог, Жанна – так звали девочку – явно чувствовала, что поступает нечестно. Может быть, поэтому она читала плохо, делала много логических ошибок. Неожиданно я оказалась в выгодном положении: услышав монолог в исполнении конкурентки, я поняла, что было неверно сделано и у меня. И, выйдя читать, я на ходу свои ошибки исправила!

Это был третий тур. Пока мы ждали списков, кто прошел, – а ждали мучительно долго, – Жанна куда-то исчезла. Возможно, она чувствовала себя неловко в роли ненадежного человека: наша оставшаяся от пятерки четверка сочла выходку Жанны предательством, мы в ее сторону не смотрели, а сами держались кучкой. Наконец список зачитали – я прошла, а Жанна нет. Но те, кто прошел, оказывается, прошли не окончательно: был объявлен повторный третий тур.

Когда измученная и голодная, я вышла из дверей студии и направилась в пельменную неподалеку, ко мне подскочил взъерошенный молодой человек и спросил, не знаю ли я, где Жанна, она ведь вроде читала со мной в одной пятерке. Я холодно ответила, что не имею ни малейшего понятия, о ком идет речь, и пошла дальше. Юноша этот, по понятной причине мне совсем не понравившийся, увязался за мной, а потом даже присоседился в пельменной и, пока мы ели, задавал еще какие-то дурацкие вопросы. Я из вежливости что-то отвечала, глядя сквозь него. Такой была первая встреча с моим будущим мужем.

Наконец миновал очень нервный повторный третий тур – до такой степени нервный, что я ничего вспомнить о нем не могу, кроме томительного и страшного до дрожи ожидания результатов. Вышла секретарша и объявила, кто принят. Звучали незнакомые фамилии – и наконец моя! Кажется, моя?.. Такое было напряжение, что в следующую секунду мне показалось, будто я ослышалась. Секретарша прикрепила зачитанный список к доске, висевшей у дверей в аудиторию, и мы столпились, чтобы прочесть фамилии, удостовериться, что все-таки не ослышались. Потом, ошалелые, мы выскочили на улицу, а день был ясный и солнечный, и вдруг полил дождь, сильный, но очень теплый. При ярком солнце – «нормальный летний дождь»! Мы с девочками сбросили туфельки, схватились за руки и с визгом побежали по теплым лужам босиком в сторону Неглинки. Нас распирало счастье, мы визжали и кричали что есть сил, пока не выкричали и не вывизгнули все накопившиеся в нас чувства и переживания. С каким трудом мы добыли свое счастье! Великий Гёте писал, что за всю свою долгую жизнь он насчитал всего семь минут абсолютного счастья. А мне, только начинающей жизнь, тогда показалось, что все семь, а может, и

десять минут счастья уместились в этом радостном визге!

Потом еще будет коллоквиум, на котором педагоги с нами ближе познакомятся, выяснят, что мы читаем, знаем ли художников, насколько музыкально образованны, почему хотим стать актерами и еще много вопросов, которых ты сам себе никогда не задавал. Потом еще будут экзамены по общеобразовательным предметам, и только после них я отправлю маме телеграмму: «Ура, я поступила»... Все будет потом – а вот сейчас, сейчас пройден главный экзамен, определяющий твою жизнь на ближайшие четыре года и подтверждающий, что ты человек творческий, способный и достоин учиться у небожителей!

Знакомство с курсом

Средний мамин брат, красавец Андрей, пригласил меня, маму и Юру к себе в Казань. После экзаменов я отправилась в гости к казанским родственникам, а мама с Юрой приехали туда из Орска, с которым они тоже попрощались, впереди предстояла новая работа в Брянске.

После отдыха в Казани я вернулась в Москву, получила место в общежитии на Трифоновке, но это был уже не тот обшарпанный барак, в который селили абитуриентов, а новое пятиэтажное здание. Мне дали место на четвертом этаже, в светлой комнате на четверых. У нас был общий шифоньер, общий круглый стол с четырьмя стульями и у каждой кровати – тумбочка. В нашей комнате поселились девочки с разных курсов: одна курсом старше, две, и я в том числе, с первого, четвертая кровать год пустовала. А когда я уже была на втором, к нам подселась первокурсница.

В здании было два крыла, женское и мужское. В женском жили иногородние студентки всех театральных вузов Москвы. Мы быстро освоились, познакомились с правилами общежития, кроме того, смогли узнать от старшекурсниц, что представляют собой наши педагоги.

Наконец – первое сентября. Нарядные, возбужденные собрались мы в студии – знакомство происходило в маленьком зале на втором этаже: педагоги на сцене, студенты в партере. Когда все разместились, я огляделась по сторонам и

поняла, что нас очень мало: четыре курса актерских и четыре постановочных. На каждом курсе в среднем по двадцать человек, а значит, всего – сто шестьдесят. Вот и весь вуз.

Прозвучали приветственные речи, в финале – ежегодное и знаменитое «По коням!» Папы Вени, и все разошлись по своим аудиториям: первокурсники – знакомиться друг с другом и с порядками института, остальные – продолжать грызть гранит науки.

Нас на курсе оказалось девятнадцать, и среди этих девятнадцати, к моему удивлению, не оказалось никого, с кем я так долго и мучительно поступала. Четверых ребят приняли в Ленинграде (в те годы практиковались выездные приемные комиссии), но остальные-то пятнадцать как-то должны были со мной пересечься? Но все смотрели друг на друга ошарашенно, из чего я сделала вывод: никто никого раньше не видел. Я узнала только молодого человека, который настырно расспрашивал меня о неприятной мне девочке Жанне, а потом поглощал рядом со мной пельмени в забегаловке рядом со школой-студией.

Педагогов, сидящих перед нами, было трое. Они объяснили порядок занятий: нас разделят на две группы, одна будет заниматься актерским мастерством с Василием Петровичем Марковым, другая с Владимиром Николаевичем Богомоловым. Третьим педагогом оказался выпускник школы-студии этого года и свежеепеченный артист МХАТа, взятый в преподаватели «на подхват»: если кто-то из основных педагогов прийти на занятия не сможет, он возьмет студентов и зажжет их своими молодыми и яркими идеями.

Нам рассказали, что занятия по мастерству будут с 9 утра до 12 дня, потом – час перерыв, потом с 13 до 18 занятия по образовательным и специальным предметам. Специальные предметы – сценическая речь, танец, вокал, сценическое движение и фехтование. Потом с 18 до 19 снова перерыв, а с 19 до 22 – опять мастерство актера. Опаздывать нельзя, если вечером нет уроков мастерства – идти в театры на спектакли и набираться уму-разуму. Если в помещение, где вы находитесь, входит педагог, даже если он у вас не преподает, или любой человек старше вас, положено встать и поздороваться стоя. Студентов четвертого курса тоже положено приветствовать вставанием. Это происходило в 1961 году, и мы следовали этому правилу. В 1965-м, когда мы заканчивали институт, первокурсники при виде нас и не думали подниматься: нам это казалось несправедливым и обидным.

Добраться к 9 утра с Трифоновки на проезд Художественного театра не опаздывая оказалось не так просто – путь неблизкий. Но мы старались. Времени на разговоры в институте у нас не оставалось совсем – занятия весь день, и, чтобы обменяться впечатлениями, оставалась только ночь. Мы часто засиживались допоздна, а утром, с трудом разлепив глаза, мчались к троллейбусу, потом на метро, после – бегом до школы-студии. Неслись табуном к девяти: на курсе было много иногородних, живущих в общежитии. Иногда мы все-таки опаздывали на пять, а то и десять минут. Педагоги со строгими лицами делали нам внушение, и мы, клянясь, что больше никогда, шли на свое место, стыдливо потупившись. Не пускал опоздавших только один педагог – тот самый, третий, который был «на подхвате». Он почитал себя над нами начальником и подолгу читал нотации за опоздание.

Вообще задумка старших педагогов с третьим преподавателем не удалась совершенно. Этот молодой человек оказался предельно занудлив. На занятиях по мастерству, когда ему выпадало счастье кого-либо заменить, он в основном хвастался, какой он большой молодец. Невысокого роста, пухленький, с маленькими глазками и мелкими чертами лица, он рассказывал про себя небылицы, и все недоумевали, за какие таланты его взяли в главный театр страны.

Со студентами-постановщиками жизнь сводила нас мало: мы встречались уже на дипломных спектаклях, когда они «обслуживали» постановки – изготавливали и расписывали декорации, выставляли свет по основным игровым точкам, занимались сценическим костюмом и реквизитом. Их этому учили серьезно и вдумчиво, и из стен этого факультета выходили истинные рыцари сцены. Самым главным человеком на их факультете считался Вадим Васильевич Шверубович. Узнав, что он сын самого Василия Ивановича Качалова, мы подлавливали его в длинных коридорах школы-студии. Он шел из деканата, высокий, стройный, с прямой спиной, а мы старались подгадать момент и лишний раз поздороваться, уловить в его лице хоть что-нибудь напоминающее знаменитого отца. Но, увы, на отца он совсем не походил, к студентам актерского факультета относился с безразличием, смотрел поверх наших голов, интересовали его только постановщики.

Из 19 человек на курсе 11 были иногородними, и мы впитывали Москву с ее масштабами, московским выговором, модой. В свободные минуты я часто останавливалась у витрин ЦУМа – самый близкий к студии огромный магазин – и подолгу изучала одежду не манекенах в витринах. Купить я ничего не могла, но

присматривалась к столичной моде, рассчитывая, что мама сошьет мне что-то похожее.

Стипендия у нас была 22 рубля, да еще мама присылала 30. На эти деньги удавалось прожить и даже, на всем экономя, через полгода я смогла купить очень красивые и очень дорогие туфли. За 50 рублей. Настоящая роскошь, ведь прежде самые дорогие туфли моего гардероба стоили 30 – те, что я покупала когда-то в компании Марка Соболя.

На первом этаже студии была у нас столовая, где в обеденный перерыв мы спокойно успевали поесть, и еще оставалось время погулять вокруг, поглазеть на витрины. В эти годы хлеб в столовых давали бесплатно, и вкуснящего хлеба мы ели много и с удовольствием. За фигурами не следили: они были прекрасны, ведь мы много двигались и на проблемы с обменом веществ не жаловались. А мальчишки еще умудрялись набрать хлеба с собой в общагу – и вечером пировали.

Наш староста, Дима, жил на одну стипендию: растила его мама, и возможности отправлять сыну деньги у нее не было. Обстоятельства заставили Диму приспособливаться, и он прознал, где можно дешево пообедать. Оказывается, в ГУМе, на самом верху, существовала столовая для работников магазина, там комплексный обед стоил на 10 копеек дешевле. И мы, вслед за Димой, кинулись всей гурьбой туда, поели и бегом вернулись обратно. В отведенный час (с пробежками и обедом) уложились мы с трудом, но 10 копеек сэкономили – немалые для студента деньги. Правда, калории, полученные в гумовской столовой, тотчас растратились на бегу, и в студию мы вернулись снова голодными. Пришлось от этой практики отказаться...

Жили мы, действительно считая копейки. Едешь на троллейбусе зайцем – 4 копейки сэкономил, а ездить-то каждое утро! Но за проезд в метро 5 копеек платить приходилось. Зато после занятий с радостью шли до общежития пешком. Ходили тоже гурьбой и не всегда только своим курсом, другие курсы тоже не чурались пеших прогулок. Москва была чистая и спокойная – мы чувствовали себя в безопасности, ни с каким криминалом не сталкивались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/alentova_vera/vse-ne-sluchayno

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)